Н.В.БАБИНА

ГОРОД РЫБ

Наталья Бабина

Город рыб

«ХАРВЕСТ»
2011

УДК 821.161.3-31
ББК 84=411.3-44

Бабина Н. В.

Город рыб / Н. В. Бабина — «ХАРВЕСТ», 2011

ISBN 978-985-18-2222-1

Захватывающий роман известной белорусской писательницы Наталки Бабиной сочетает в себе черты приключенческого, исторического, женского романа и остросюжетного политического детектива. История любви и смерти, невероятных страданий и чудесных спасений заставит читателя плакать и смеяться, сопереживать и негодовать. Роман «Город рыб» переведен на польский, украинский и английский языки. В 2011 году книга стала финалистом престижной европейской литературной премии «Ангелус».

УДК 821.161.3-31
ББК 84=411.3-44

ISBN 978-985-18-2222-1

© Бабина Н. В., 2011
© ХАРВЕСТ, 2011

Содержание

История с лысым чертом 6
Катилась торба 7
Норы во времени 8
Страдче, Любче и Добратиче 9
Велком в Добратичи 13
Велком в нашу полифонию 14
Любовь и удача Геника Уругвайца 16
Ночь после дождя 20
Черное болото 23
Чужая смерть 27
И бранился непотребно, ибо бысть упоен владою… 31
Первое знакомство с Куколем Иваном Митричем 37
Это ничего! 44
Конец ознакомительного фрагмента. 46

Наталья Васильевна Бабина
Город рыб

Вите Панасюку, Генке Озимуку, Наде Тетерук,
Марии Корнелюк (Калёнихе), Василию Кравчуку, Ксене Кравчук и всем, кто не дожил.

© Бабина Н. В., 2013
© Подготовка, оформление. ООО «Харвест», 2013

История с лысым чертом

Ох, было времечко, когда меня ужасно мучил лысый черт. Может, даже лучше сказать – *чорт*. Он таскался ко мне ежедневно и упорно. Поначалу у меня доставало храбрости турнуть его к его чертовой маме, но этот без меры настырный экземпляр – даже существом черта не назовешь – возвращался снова и снова, выскакивал из-под пола в самое неожиданное время, в самых неожиданных местах. Отвратный, смердючий, облезлый… Омерзительный *лысый чорт*. Поскольку на кону стояла не более и не менее как моя бессмертная душа, я жила тогда в постоянном напряжении. Ежеминутно озираться в страхе, что за дверью шкафа или под крышкой кастрюльки, или в зеркале разверзнутся раскаленные врата ада, – это ужасно. Кто имел дело с чертом, тот поймет, о чем я. Я была парализована страхом. Но однажды, совершенно неожиданно для самой себя, расправилась с чертом раз и навсегда. Открыла средство, могу рекомендовать каждому. Вернее, каждой.

Помню, был вечер после тяжелого душного дня. Совсем измотанная и запаренная я приволоклась домой из города. Стянула с себя платье, содрала влажные на ступнях чулки. Духота усталости смешивалась с духотой грузного тела, я ощущала это и, вытащив из-под себя кровавый подклад, направилась в ванную, чтобы залезть под душ. И тут, в темноватом коридоре, из-за угла на меня набросился черт. Он, наверное, рассчитывал, что, опешив от неожиданности, я не стану сопротивляться. Но его расчет не оправдался. Именно от неожиданности, совсем не думая, инстинктивно, я хлестнула его окровавленной тряпицей – а текло из меня тогда, как из рукава, – по лысому черепу так, что на светлые стены коридора брызнули темно-вишневые капли. И еще раз, и еще, и еще. Ударив первый раз непроизвольно, я уже не могла остановиться и лупила по мерзкой лысине изо всей силы, быстро-быстро, со всей ненавистью, что так долго копилась в моей душе: «Сгинь, сгинь, сгинь, нечистая сила!» И он сгинул. Испуганно заверещал и сгинул. И больше никогда не приходил.

Не знаю, что на него подействовало. То ли кровь месячных обладает магическим свойством, способным отвадить любого черта, то ли черту попросту стало стыдно, что спасовал перед *смертной,* – так или иначе, но только больше его никогда *не приносило*. Хотя я долго опасалась, что он вернется, поэтому никогда не пользовалась прокладками, не покупала их, пока этот вопрос был для меня актуальным. Никакая прокладка не помогла бы мне прогнать черта так, как помог пропитанный кровью кусок старой изношенной простыни.

Так что есть прямая польза и от физиологии, даже и от физиологии такой ненормальной бабы, как я.

А запах крови невесть откуда я и до сих пор иногда ощущаю в воздухе.

Катилась торба

После всего, что произошло, я снова приехала сюда. Ненадолго. Прежде чем уехать и больше не возвращаться.

Тут красиво. Красивенно. Седые завесы мелкого дождя делят дали на ярусы: поближе – зелено-серый, дальше – серо-зеленый. Дождинки стекают по лицу, по долгополому брезентовому плащу. Плащ старый, лицо тоже не первой молодости. В этом их схожесть: брезент с годами утратил глянец, лицо – румянец. А душа – прозрачность.

Я стою у самой границы. С противоположного берега Буга, по правую руку от меня, доносятся громкие голоса: какие-то чудаки купаются, несмотря на дождь, окликают друг друга. Слева слышна русская речь. Дачники, чьи скособоченные дворцы еще не купил Толик-алкоголик, даже в ливень на страже своих огородов.

В брезентовом плаще и резиновых сапожищах, с двумя шрамами на теле – один на животе, другой на спине, пальцы рук недавно срослись после переломов, а мозоли еще не сошли – я стою на узкой полосе приграничного луга. Дождь льет и льет, луговая трава полегла под слоем воды. У самых моих ног медленно проплывает в дождевом потоке ящерица (*яшчорка*, как говорят у нас), ярко-зеленая, с изящным желтым узором на спинке. Это редкая *яшчорка*. В детстве, поймав такую, мы радовались гораздо больше, чем когда удавалось добыть блеклую серенькую – сереньких было много.

Растопыренные лапки ящерицы удивительно похожи на крохотные ручки ребенка.

Луг. Нескончаемый дождь. Рифленая поверхность дождевого потока. Ящерица с ладошками младенца. С одной стороны – Польша, с другой – Россия. А я стою и стою на узкой зеленой полосе пограничья. Или приграничья, которое с обеих сторон. В шелесте дождя (не знаю точно, с какой стороны) отчетливый шепот:

Котылася торба
С вэлыкого горба.
А в тый торби
Жыто, пшаныця,
Хлиб-паляныця.[1]

В этом шепоте то ли укор, то ли насмешка, то ли грустное снисхождение. А может, все вместе. Это шепчет земля, насыщенный влагой черный ил, за века нанесенный сюда Бугом. Затаенный, но внятный, вездесущий голос земли.

Скатилась торба, да прямо мне в руки.

Торба ценою в жизнь.

Подставляешь руки, чтобы поймать торбу, а ловишь смерть.

А потом стоишь одна под проливным дождем, и дождинки струятся по увядшему лицу, по брезентовому плащу цвета хаки, по зеленым резиновым сапогам.

Вот вытру морду, посмотрю еще раз на ярусы, какими дождь поделил пространство, и пойду домой (там сохранился уголочек непорушенный, где можно спокойно сидеть и писать), да и задокументирую все по порядку. А когда закончу – уеду, и больше сюда не вернусь.

Наверное, это будет повесть, должна сказать, что не все в ней – вымысел, не все совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Однако если из-за этого ко мне явятся литературоведы в штатском, я от всего отопрусь. Сумею.

---

[1] Катилась сума с большого горба, а в той суме рожь и пшеница, самопеченный хлеб (детская народная песенка на Брестчине; здесь и далее – прим. авт.).

Норы во времени

Любимейшее мое занятие – рыть норы во времени. Когда врезаюсь в прозрачные пласты четвертого измерения, то в свисте и звоне, вне каких-либо временных рамок, тоже иногда слышу шепот земли. Но редко.

Страдче, Любче и Добратиче

Все в моей жизни пошло наперекосяк буквально с момента рождения.

Вопреки советам своей матери, а моей бабушки, рожать мама отправилась в недавно открытую в соседней деревне больничку. Баба Мокрина, не видя в этом никакого резона, с палкой в руке отговаривала дочку от решения рожать в больничке. Но бить беременную на сносях все же не осмелилась. Поэтому мама настояла на своем. Все-таки она была учительница, образованная молодая женщина, верила в прогресс и научную медицину с ее правилами гигиены. В прогресс и научную медицину верил и фельдшер, который принимал роды у мамы. Но то ли из-за того, что опыта ему недоставало, то ли из-за того, что помимо прогресса он еще и водочке поклонялся и постоянно был под хмельком, приключилась с ним незадача. Как только он принял у мамы ребенка (а это была моя сестра Ульянка – *Влянця*, как говорят у нас), тут же принялся зашивать разорванную мамину промежность, сосредоточившись на том, чтобы накладывать швы ровно.

– Ну, как же, нельзя не зашивать, – отвечал он на просьбы роженицы не мучить ее. – Матка будет между колен болтаться. Некрасиво!

И продолжал шить. Мама, само собой, кричала, орала от боли, потому что, когда твои мышцы пронзают толстой иглой, да по свежей ране, да без анестезии, боль становится адской. Мама ничего не чувствовала, кроме боли, поэтому для нее, как и для фельдшера (*фельчара*, как говорят у нас), было полной неожиданностью продолжение родов: разрывая только что наложенные швы, на свет божий устремилась я.

– Что за холера?! – оторопел фельдшер. – Еще что-то лезет!

В педучилище, которое окончила мама, рожать не учили, поэтому мама не знала, что это за «холера». Да что она могла сказать растерянному эскулапу? Она сама не понимала, что происходит, да и слова произнести была не в силах: во время схваток тело сводила судорога, а когда отпускала, все равно было не до разговоров. Отдышаться бы хоть немного. Эскулап же бессмысленно таращился на то, что медики именуют родовыми путями и что в обычной жизни мы, не медики, стараемся никак не называть: обрамленные темной щетинкой, поскольку волосы перед родами сбривают, темные пульсары путей раскрывались все больше, полные пунцовой крови и маминой боли. На мое счастье, в это время в палату вошла санитарка. Она и подхватила меня из-под рук остолбеневшего работника народного здравоохранения, благодаря чему я не грохнулась на пол, она же удержала его от повторного наложения швов, пока не отошла плацента (*мисцэ*, как говорят у нас).

Через час в Добратичах уже знали, что дочка Мокрины Ева родила двойню. Двух девочек.

Когда санитарка обмыла нас с Ульянкой и запеленала, мы, рассказывала мама, сразу перестали кричать, лежали тихонько и с любопытством (так она утверждала) таращились на стены и окна одинаковыми темными глазенками. Не только глазенки были у нас одинаковые, мы были похожи одна на другую точь-в-точь, всеми черточками, что сразу увидели и мама, и санитарка, и даже осоловелый фельдшер, который к тому времени успел снова приложиться к чарочке. Он удивился, что мы лежим тихо, и сказал, что, коль скоро мы лежим тихо, значит, нам хорошо. А мы, думаю, не кричали лишь потому, что не представляли дальнейшего. Не знали, что нас ждет. Не знали, что люди рождаются не для того, чтобы им было хорошо. В лучшем случае они приходят в этот мир, чтобы стало хорошо кому-то другому.

Хотя мы с Ульянкой абсолютно похожи, нас различали легко: я хромаю. Врачиха в Бресте, куда мама повезла меня, с ужасом обнаружив мою хромоту, сказала, что это последствие родовой травмы: *дитё*, то есть я, шло из маминого чрева ножками вперед. Она успокоила маму, уверяя, что хромота пройдет. Но я так и осталась хромоножкой. Правда, это почти незаметно. Даже не скажешь, что я хромаю, так, чуть прихрамываю.

Когда мы с Ульянкой родились, стояла поздняя, уже уверенная весна. Таких весен в наших краях сейчас уже не бывает, но я хорошо ее помню: порывы ветра еще холодные, на песчаных, поросших исландским мхом пригорках качаются ивы с пушистыми кремово-белыми котиками на плакучих ветвях; на откосах железной дороги цветут занесенные сюда со щебнем молочаи; белые крохотные пятилепестковые цветочки какой-то разновидности мокрицы колеблются на фоне коричневого мха лесных прогалин. Желтые головы калужниц над разливами стариц. Мягкие краски земли. А людей почти не видно.

А еще той весной деревянные столбы на границе заменяли бетонными, которые простояли лет тридцать. Только колючую проволоку на них обновляли регулярно.

Ни о маме Еве, ни о папе, которого звали не Адамом, а Анатолием, – мама звала его Толиком, – речи в дальнейшем не будет, но я не могу не сказать о их судьбе: они погибли, когда нам с Ульянкой было по девять годочков. Сейчас я не помню даже их лиц (у меня вообще слабая память), не помню, чем они жили духовно, что они были за люди. Не представляю их образов. Но, кажется, стержнем маминой жизни (после боязни голода – вечной фобии всего нашего края, которая не раз в разные времена становилась явью) была боязнь «машинерии»: мама боялась автомобилей, железной дороги, электрического тока, всяческих бытовых приборов и даже лекарств – всего того, что приносил прогресс. А ведь как учительница младших классов она должна была все это пропагандировать детям. Но она боялась не только «машинерии», всевозможные страхи преследовали ее на каждом шагу. Стоило отцу задержаться где-нибудь дольше, чем на десять минут, мама темнела лицом, становилась хмурой, а потом начинались стенания типа: «Ну все, нет больше нашего папки. Дорога от станции безлюдная, темень. Шандарахнул его какой-нибудь бандит по голове, лежит наш папка под кустом мертвый!..» Стенания эти наводили на нас с Ульянкой ужас.

Благодаря Толику, нашему папке, я и Ульянка говорим по-русски почти без акцента – с самого нашего раннего детства он общался с нами только по-русски. А он выучил русский язык самостоятельно, поскольку дед с бабкой, естественно, его не знали.

Отец, что называется, вышел в люди. Причем настолько, что завод, на котором он работал в Бресте, дал ему квартиру, а через год подошла его очередь на машину, за которой он отправился в город Тольятти, на Волжский автозавод, вместе с мамой. Мама, несмотря на свой панический страх перед «машинерией», до такой степени возжелала «Жигули», что ради них стала беречь каждую копейку, экономила на всем абсолютно: кормила семью впроголодь, одевалась сама и одевала нас с Ульянкой в собственноручно сшитые платья из самой дешевой ткани и в пальто из дрянного уцененного драпа. И платья и пальто надтачивала по несколько раз, от чего они становились еще уродливее.

Долгожданные «Жигули» цвета морской волны, на которых родители возвращались с ВАЗа, кувыркнулись в кювет где-то под Минском. Домой родителей привезли в гробах.

Я давно уже не разглядывала, не брала в руки те несколько фотографий, на которых запечатлены мама Ева и папа Толик. Они хранятся у бабы Мокрины, захватанные на обороте пальцами, – эти порыжелые отражения давным-давно минувших мгновений жизни.

Фамилия папы была Годун, как и девичья фамилия мамы. Поэтому маме не пришлось менять паспорт, когда она вышла за отца. Мне не раз говорили, что я очень похожа на бабушку Ульяну, мать отца, а Ульянке почему-то никогда этого не говорили, хотя имя ей дали в честь той бабушки. Бабу Ульяну я помню смутно, вижу ее как в тумане, и вижу даже не черты, а общее выражение – выражение бесконечной доброты и беззащитности в глазах, в морщинах. По определению бабы Мокрины, баба Ульяна была *нэдолэнга* – этим словом баба Мокрина характеризует многих женщин, тех, к примеру, кто позволяет себя бить. А баба Ульяна в молодости, пока не подросли сыновья, частенько бывала бита мужем, который, кстати, был на голову ниже ее ростом.

Фельдшера и санитарку я потом несколько раз видела. Ее – в церкви в Страдичах: худощавая женщина с коричневым лицом, с большими разбитыми работой руками, одетая по извечной здешней моде – *каптанчик, сподныця, шаляновка*[2]. Его – когда приезжал по вызову к соседям. У фельдшера лицо было круглое, раскормленное, в красных тоненьких прожилках, пальцы толстые, негрязные. Одевался он в брестском магазине «Одежда» и постоянно избирался депутатом местного совета. Как представитель местной интеллигенции. И он, и санитарка уже на том свете. Нет больше и Дурицкой сельской больнички, где произошло наше с Ульянкой первое знакомство с этим миром. Ибо Дуричи переименовали в Знаменку. И больничка, соответственно, стала Знаменской. И это изменило, надо полагать, ее сущность.

Дорога из Дуричей (или правильнее – из Дуричего, поскольку в то время село еще называли Дуриче), по которой нас везли из больнички, вьется по ровному полю вдоль границы; вшивые хуторки еще маячат под теплым солнцем, по левую руку – гадючья дубрава, болото; дальше – мимо Горы, с которой видны дома Страдчего, мимо кладбища, затем снова болото – белые, как хлопок, пуховки ситника, камыши над рыжей водой, желтые ирисы. В одном месте у самой границы, у колючей проволоки, если стать на цыпочки или подпрыгнуть, можно рассмотреть в отдалении яблони и кусты сирени – особенно заметны они весной, в цвету. Там, где сирень, стояло село Добратиче. Раньше. До тридцать девятого года. До тех, первых, советов. До прогресса и гигиены. В тридцать девятом здесь протянули границу, а людей переселили далеко на восток – чтоб не мешали ее, границу, охранять.

Страдче, Любче, Добратиче, Дуриче – я еще застала такое произношение, с мягким ч – названия окрестных сел. Я нашла их в инвентаре за 1566 год. Мол, чьи это сельца? Некоего Страды, некой Любы, некоего Доброты да какой-то Дуры… Замирая, я вчитывалась в ветхий древний документ в Луцком архиве, будучи студенткой на практике. Про Любче никто у нас и не слышал, и следа не осталось от этого сельца в сорок домов. Оно пропало. Не стало села некой Любы. А остальные дожили да наших дней, хотя и перебрались на новые места и названия их изменились. Стали звучать так: Страдичи, Добратичи, Дуричи. В Дуричах родились, а в Добратичах жили мы с сестрой.

Тут, в Страдичах, Добратичах, Дуричах, несколько веков маялись без толку и ладу мои земляки – существа без лиц, холодные, в чешуе и слизи. В норах. Несознательные такие и грязные. Низшей наценочной категории. К счастью, их больше нет. Прогресс, гигиена и советы победили. Теперь тут все в полной норме. Колышутся под теплым солнцем в потоках воздуха призраки вшивых хуторков, призраки гадючьих дубрав.

Неподалеку отсюда, в Комаровке, родился первый, так сказать, белорусский космонавт Петр Климук[3]. В Заказанке (Заказани) – Андрей Дынько[4], героический главный редактор «Нашей нивы»[5]. Из Гершонов – композитор Игорь Корнелюк[6]. А в наших Добратичах живет, как вы, наверное, знаете, Михась Ярош[7].

Не пригласи я нашего знаменитого поэта Михася Яроша в дом, не произошли бы два убийства.

Протестанты не построили бы себе новый молитвенный дом, высокий – аж до неба.

Не летал бы тут туристический прогулочный дирижабль последней модели, блестящий, медленный и одновременно быстрый, насквозь прозрачный.

---

[2] Кофточка, юбка, платок (местный говор).

[3] Придуманное автором лицо.

[4] Придуманное автором лицо.

[5] Старейшая белорусская независимая газета, которую власти то и дело стараются закрыть.

[6] Придуманное автором лицо.

[7] Придуманное автором лицо.

Много чего не случилось бы, вынеси я свой ноутбук во двор. Но мой старенький ноутбук, когда работает не от сети, всячески брыкается и откалывает разные неконтролируемые номера, поэтому я пригласила Михася в дом, и вскоре после этого зазвонил телефон.

Велком в Добратичи

Добро пожаловать в Добратичи. Вся эта история (опасная, как сама литература; даже трудно поверить, что все это случилось со мной) произошла именно тут, в деревушке, прославленной, но, видимо, все-таки и приукрашенной в стихах Михася Яроша – человека, талантливого настолько, что о нем слышал каждый двадцатый из опрошенных не только в Европе, но и в Беларуси. И это несмотря на то, что он пишет по-белорусски! А впрочем, он пишет и по-украински.

Деревня стоит в светлом сосновом лесу, и сосны, которые у нас называют барьяки, тут действительно похожи на людей; тут на самом деле кругом пески, но, конечно же, не «дюны невидимого моря»; поблизости нет ни видимого, ни невидимого моря, нет и реки, есть только несколько родничков, один – с соленой водой. Сейчас, когда можно пройти к Бугу, дорога занимает пятнадцать минут, но тогда к Бугу было не добраться – граница, холера, колючая проволока, контрольно-следовая полоса, сигнализация… Да, с купанием в наших местах тогда были проблемы. Поэтому популярностью пользовалась небольшая бухточка у шлюза мелиоративного канала – туда часто приезжали поплавать и отдохнуть у воды даже из Бреста.

Не соглашусь и с тезисом о «безмерном безлюдье, безграничном одиночестве» в Добратичах, о которых пишет Михась. Конечно, во времена моего – да и Михасева тоже – детства любой человек среди старых сосен и осин воспринимался как событие; чаще здесь носились хорьки, беленькие ласки и полосатые дикие поросята, но потом вокруг леса разрослись раковые опухоли дачных поселков, у деревни построили железнодорожную станцию, звери отступили, зато насели дачники.

Может быть, Михась имел в виду, что их нельзя назвать людьми?

Напрасно. Это сливки общества. Лучшие из лучших. Садовые товарищества в округе называются «Ветеран», «Защитник Отечества» и «Радуга». Моя бабушка, последняя могиканша старого Добратыче, всегда разговаривает с дачниками особенно почтительно – как с людьми, которые руководят миром. Бабе девяносто семь, и когда какой-нибудь очередной майор или подполковник в отставке в полинялых, обвислых на заднице и с пузырями на коленях синих штанах подходит к нашему забору, она каждый раз предлагает ему попить водочки и подает кружку, декоративно запачканную куриным пометом.

Бабушка моя нищая духом. Из тех, кому уготовано царствие небесное. Если б она не преодолела греховное искушение и покончила с собой, что намеревалась сделать лет двадцать тому назад, то, безусловно, этого царствия она не увидела бы, а так – нет проблем. Увидит.

В эпоху дач в Добратичах появились заборы и ограды. Раньше ничего подобного не наблюдалось. Обходились веткой на ручке двери или веником у порога – знак того, что дома никого нет и хозяева просят без них в дом не входить. А сейчас тут обносят высоченными заборами и закрывают на замок все, что легче тонны и не раскалено добела. Вместо Горы, болот, поля – халупистые дворцы дачников. Гадюки из уничтоженной дубравы расползлись по парникам и теплицам. Раньше здесь опасались только цыган, а теперь – один одного.

Однако пора вернуться в тот июньский вечер, когда вооруженный парень открыл нашу калитку и вошел во двор.

Велком в нашу полифонию

Мир держится на моей бабе Мокрине. Это она сидит сейчас напротив меня за черным от времени столом; на стол, на жареную картошку в закопченной сковородке, в кружки с квасом пикируют с высокой сосны сухие иглы, невесомые чешуйки сосновой коры. Мы с бабой Мокриной ужинаем на свежем воздухе, во дворе. На протяжении последних пятидесяти лет я не раз ужинала вдвоем с бабушкой. Бывало, за этот стол под сосной садились и другие люди: мама, отец, Ульянка, дети Ульянки, моя доченька – каждый в свое время. Давно нет на свете отца и мамы, нет и моей доченьки, и мы с бабулей опять сидим вдвоем. Дети Ульянки – в Минске, а сама она – в Норвегии, в научной командировке, читает потомкам викингов какие-то лекции, что-то о походах их воинственных предков в чужие земли.

Прочухал в город семичасовой дизель, увез дачников, и в Добратичах стало тихо, утих даже ветер. В деревне только свои, обитатели пяти хат. Тоже ужинают под кронами вековых дубов и сосен в длинных вечерних тенях или еще заняты домашними хлопотами, управляются со скотиной.

Тем более удивительным было появление в этот тихий умиротворенный час незнакомого парня с выразительной кобурой пистолета на бедре, который, непринужденно оглядываясь по сторонам, шагал по добратичской улице, если считать улицей грунтовую дорогу, исполосованную тележными колеями, такими давними, что успели зарасти овсяницей и темно-зеленым мхом.

Кто такой и что ему здесь нужно? Молоденький, черноволосый, открытое смуглое лицо. Явно не бандит, или я плохая физиономистка. Кто же он?

Это выяснилось, как только он подошел к нашей калитке.

– Здравствуйте! Я ваш участковый, Рутковский Андрей Ильич. Можно к вам?

Бабушка посмотрела на него с интересом.

– А чого тоби, хлопче, треба?[8]

– Можно, я воды у вас выверну? Жарища, очень пить хочется.

Бабушка повела глазом на меня, и я подала парню чистую кружку. Вывернув, как он метко выразился, ведро воды из колодца, парень с наслаждением напился.

– Тут, неподалеку от деревни, возле шоссе, обнаружено тело мужчины, – обратился он ко мне, возвращая кружку. – Ничего об этом не слышали? Может, что-нибудь знаете?

– Ничого не знаемо, – ответила за меня бабушка. – А шо то за вин?[9]

Бабушка требовательно смотрела на участкового через толстые линзы очков. Парень вздохнул и стал рассказывать.

Но тут – стоп. Сперва надо решить вот какой вопрос: на каком языке вести повествование обо всем, что произошло в дальнейшем, чтобы вы увидели и почувствовали мои Добратичи? Решить не так просто. Главенствует, конечно, русская речь – в том варианте, который у нас считается правильным русским языком, хотя русскому человеку он, надо полагать, кажется довольно странным. Добратинцы говорят на украинском, но их совсем мало осталось. На белорусском разговаривает директор ООО «Агровиталика Плюс» Виталь Иванович Чарота, переселенный сюда после Чернобыля откуда-то из-под Чечерска, и время от времени по-белорусски вещает белорусское радио (радиоточки в домах добратинцев не выключаются круглые сутки). Чарота, участковый, докторша, областная газета или протестантский пресвитер могут иногда ввернуть в разговоре для большей выразительности какой-нибудь смачный украинизм или белорусизм, но молодой поп и его тоненькая попадья – никогда. Эти говорят только по-русски.

---

[8] А чего тебе, парень, надо? (местный говор).

[9] Ничего не знаем. А кто это такой? (местный говор).

По-украински говорит и земля, но это бывает очень редко.

Ветер свищет и шумит, не снисходя до каких бы то ни было наречий.

Так что велком в нашу полифонию.

Так вот что рассказал (по-русски, вворачивая время от времени украинские словечки, чтобы бабушке было понятней) молодой участковый.

Наша главная добратинская ньюсмейкерша и по совместительству ходячее агентство новостей тетка Калёниха, или тетя Маня, как называл ее участковый, и на этот раз оказалась первоисточником новости. Вчера, отвозя на дачи молоко, она заметила на обочине шоссе, в кювете, некоего Сивого, типичного дачного пьянтоса, знакомого многим. Означенный Сивый лежал в несколько неестественной даже для пьяного позе под чахлой акацией. Подойдя поближе, Калёниха увидела, что он мертв. Она сразу же вернулась домой и вызвала милицию, которая вскоре прибыла. Выяснилось, что Сивый был командирован в магазин в Прилуки триумвиратом таких же, как он, типов, с которыми он на своей даче потреблял алкоголь, по причине нехватки последнего. Похоже было на то, что на шоссе пьяного сбила машина. Все это было запротоколировано еще вчера, а сегодняшний визит милиции в Добратичи касался того факта, что вдова Сивого заявила о пропаже велосипеда, на котором, якобы, он отправился в последнюю в своей жизни поездку, но никакого велосипеда, когда место происшествия осматривала милиция, возле тела Сивого не наблюдалось.

– Нет, мы об этом ничего не знаем, Калёниха к нам вчера не заходила, – подтвердила я слова бабушки.

– Что ж, спасибо за воду. Вкусная она у вас, – улыбнулся участковый. – Пойду загляну к тете Мане, может, она уже дома.

Он не спеша направился к дому Калёнихи, который стоит за осиновой рощицей, и вскоре оттуда послышались его крики: на старости лет тетя Маня почти оглохла, и чтобы до нее докричаться, участковому пришлось изрядно напрягать голосовые связки.

– А кто-нибудь еще там был? Видели кого-нибудь? – допытывался участковый, а любознательный ветерок доносил до нас с бабушкой его вопросы.

– Веришь, никого там не было! Веришь, не видела! Не, никого поблизости! Не, велосипеда не видела! – тоже криком отвечала тетка Калёниха.

Строго говоря, эпизод с участковым не имеет прямого отношения к тому, что произошло позже. Он не был тем камешком, который вызвал лавину. Тот камешек шлепнулся где-то в другом месте и в другое время. Но он оказался первой неожиданностью в списке многих других, которые посыпались, посыпались, посыпались вслед за первой и стали грозной лавиной.

Любовь и удача Геника Уругвайца

Возможно, тот первый камешек сдвинул с места Геник Годун Уругваец.

Геник Годун Уругваец – сухощавый, красивый дядька, любитель выпить и ходок по бабам, на что частенько жалуется соседкам его жена Катя. Столяр, каменщик, пчеловод, вообще мастер на все руки, он контачит с землей напрямую, потому как ходит обычно босой. Поэтому очень может быть, что именно он вызвал лавину. Если он, то произошло это на следующее утро.

Трава во дворе пожухла, солнце жжет невыносимо, и даже *барьяки*, то есть сосны, кажется, шумят иначе, не так, как всегда. Впрочем, и сейчас эти высоченные сосны выглядят так, будто ненасытный зной их особо не беспокоит. Конечно, с такими корнями – чуть ли не до магмы – можно не обращать внимания ни на какие капризы погоды. Земля здесь насквозь пронизана сплетениями их мощных корней. Живой подземный мир. Невидимая часть общего божьего чуда.

Бабушка швырнула палкой в курицу. Палка, ореховая, неошкуренная, заостренная снизу, – неотъемлема от бабушки. Палка – символ власти и стимул, если вспомнить первоначальное значение этого слова. (По-нашему палка – *кий*. Что уводит в глубь истории.) Палкой – в курицу, поленом – в кота, колом – в корову – вот бабушкина манера. Правда, бабуля никогда не попадает в цель.

Курица, взмахнув для приличия крыльями, отскочила от крыльца, куда направлялась.

– Коб тэбэ дэ! – кричит баба; обычное ее проклятие, но что оно означает, я не знаю.

Я поднимаю палку и подаю бабуле. Она умывается у раздрызганного старого рукомойника. Очки положила на полочку, палку прислонила к сосне. Худая, стала меньше ростом, почти слепая. Лицо, когда-то властное и грубое, иссохло, истончилось. Внуки добратинцев, приезжающие в деревню на летние каникулы, прозвали ее ведьмой. Неуверенными движениями бабуля плескает пригоршни воды на глаза. Прозрачная колодезная вода стекает по морщинистым щекам, с темных, почти черных рук – в трещинки на пальцах и ладонях, в поры кожи навечно въелась добратинская земля. Этими руками, которые не отмыть, бабуля вырастила меня, а я вот чистыми свою девочку не удержала…

– Бабушка, где наша корзина?

Хорошо знаю, где стоит корзина. Но когда мне будет девяносто семь, моя внучка не спросит у меня о чем-либо ради того, чтобы услышать в ответ мой голос. И, готовя обед, не попросит, чтобы я попробовала суп: может, мало соли? Потому что у меня никогда не будет внучки…

Бабушка с триумфом – «Что бы вы робылы[10] тут без меня?» – вынесла из сеней корзину.

– Я схожу в сад? – спрашиваю я, наперед зная ответ.

– Еще чего выдумай! В саду я сама управлюсь. Ты лучше пробегись по лесу, может, где в ельничке лисички сдуру выскочили, все ж лисичкам сейчас самое время, хоть и сушь, – сваришь вечером супчик.

Баба ищет себе работу. Собирает в саду опады, пропалывает грядки. Я после нее сажаю обратно вырванные вместе с сорной травой луковки, тонюсенькие морковинки, рассаду астр.

– Там, на горі!.. Там женці жнуть?[11]– доносится вдруг из-за забора, почему-то с вопросительной интонацией.

Дядька Геник Уругваец, не удержавшись на ногах, ухватился за забор, постоял, качаясь, затем обреченно махнул рукой и лег на землю, на спину, изловчившись напоследок подложить под голову кепку.

---

[10] Делали (местный говор).

[11] Там на горе жнецы жнут (из укр. нар. песни).

– Мені з жінкой!.. Мені з жінкой!.. Не возиться?[12] – продолжал он спрашивать у неба, пока мы с бабушкой шли к нему.

У него сильный, прекрасный голос, загорелое худощавое лицо, коричневые натруженные руки.

– Геныку, вставай! – бабушка пнула его палкой. – Это что ж такое, солнце не взошло, а ты уже набрался!

– Як сонечко зійде, кохання відийде?[13] – печально спросил Геник.

Прозвище Уругваец перешло к Генику от деда, который на заре новейшей истории в поисках счастья побывал в Уругвае. С той поры ко всем дедовым потомкам и пристало прозвище – Уругвайцевы, или просто Уругвайцы. В детстве я была уверена, что это их фамилия, пока много позже не узнала, что по фамилии они, как и все в Добратичах, – Годуны.

Да, все мы из одного корневища, потому и однофамильцы. Все друг на друга похожи, все, за редким исключением, грубого телосложения, с шишковатыми головами и словно топором вырубленными из кряжистого дуба лицами: толстая переносица, выпуклый лоб, широкие скулы, крепкие, хотя и неровные, зубы. Лица, которым не идет улыбка. Неорганично выглядит. И все же никто не скажет, что, мол, мы некрасивы – могучая жизненная сила придает нашему облику нечто большее, нежели банальную красоту.

Но в данный момент жизненная сила Геника Годуна Уругвайца под воздействием алкоголя целиком перетекла в землю. И он был способен лишь на художественную декламацию.

– Ой, ліпш би я була кохання не знала![14] – с чувством воскликнул Геник, повернулся на бок и закрыл глаза.

Мы с бабушкой переглянулись.

– Сбегаю к Любе, – предложила я, – пусть заберет.

– Куда ей! Не дотащит, он тяжелый, – возразила бабушка. – Принеси-ка дерюжку, постелем, чтоб на земле не лежал.

Но за дерюжкой идти не пришлось: Михась Ярош, которого в Добратичах больше знали как Ярошихиного Мишика, в майке с надписью «Ирмошиной – низачот» и с вилами на плече возвращался с сенокоса и свернул к нам. (Мишик живет неподалеку от нас. Скоро, наверное, к его дому целыми автобусами будут приезжать экскурсанты, чтобы посмотреть на знаменитость, но пока его посещают лишь отдельные поклонники, задумчивые бородатые типы, которых Ярошиха, предприимчивая бабушка Мишика, использует для заготовки сена. Однако в то утро Мишик возвращался с луга один.)

– Я его доведу, – сказал Мишик, оценив обстановку. – Вилы пускай тут постоят, на обратном пути заберу. Я, кстати, давно собирался к вам зайти, хотел спросить, можно ли в Ворде подключить проверку украинской орфографии. Как это делается?

– Элементарно, – сказала я, – вернешься, – покажу.

Мишик бесцеремонно подхватил Геника под мышки, поставил на ноги, встряхнул:

– Пойдем, дядько! Тетка Люба ждет. Нальет тебе чарочку.

И Геник милостиво позволил отвести его домой.

– Тетка Люба веревкой его отстегала взамен чарочки, – посмеивался, вернувшись, Мишик. – Это его венерологи так наугощали, он им погреб перекрыл. Тетка Люба заперла благоверного в доме, а сама побежала к венерологам выяснять отношения. Ну, где там хохлацкая орфография? Мне нужно кое-что сверить.

---

[12] Мне с женою не возиться (из укр. нар. песни).

[13] Когда солнышко взойдет, любовь уйдет (из укр. нар. песни).

[14] Ох, лучше бы мне любви не знать (из укр. нар. песни).

Мы пошли в дом, вошли в мою комнату, где на большом, громоздком, совсем не письменном столе стоял компьютер и лежали стопки бумаги, папки с рукописями – предполагалось, что я буду здесь работать, но мне некогда было нос утереть, а не то что сидеть за компьютером.

Я включила ноутбук и показала Мишику, как добиться требуемой проверки.

Но тут зазвонил телефон, и я помчалась на кухню (телефонный аппарат установлен там, потому что бабушка чаще всего обитает именно на кухне, особенно зимой). Звонила Ульяна:

– Что у вас слышно? Как бабушка? И уплати ты, ради бога, за мобильный! Зачем он тебе вообще, если все время заблокирован?

– Уплачу, – ответила я сестре. – Бабушка молодцом. Все у нас хорошо. Не волнуйся, занимайся своими викингами!

– Я приеду послезавтра, уже взяла билет. Встречать не надо. Что привезти?

– Дождь, а то у нас тут Сахара!

Мишик в ожидании меня рассеянно перебирал опции программы.

– Ульянка приезжает?

– Ага, послезавтра.

Я уже говорила, что Ульянка тогда находилась в Норвегии, участвовала в какой-то конференции. Она археолог, тема ее доклада – «Археологические доказательства присутствия викингов на территории Полоцкого княжества в X веке». А может, тема формулировалась не так, как я запомнила. Я всегда путаюсь в таких вещах, хотя сама вроде бы не чужда науки, все-таки историк по образованию. Впрочем, неважно, как в точности назывался доклад Ульянки. Интересно то, что вдруг произошло с Мишиком. Взгляд его стал отрешенным, далеким от меня. Каким-то странным. Видимо я стала очевидцем того, как творят поэты, забывая обо всем, уходя в себя, в свой внутренний мир. У меня на глазах рождалось стихотворение! Глядя на меня и не видя, Мишик каким-то незнакомым голосом спросил о том, о чем уже спрашивал, о том, что я ему только что растолковала: как подключить украинскую орфографию. Но думал он совсем о другом – я видела это по его глазам. И подумала: уж не Ульяна ли причина такой перемены в Мишике? Может, у него к ней чувства? Вот ведь как он переменился, услышав, что она приезжает!.. Я не стала ни о чем спрашивать, терпеливо показала все еще раз.

В сенях чем-то загремела бабушка. Михась очнулся от задумчивости и отправился домой, но, видимо, не совсем очнулся, потому что забыл взять свои вилы.

А день исходил зноем. На раскаленный песок невозможно стало ступить босиком. Поникла листва сирени. Я в тенечке чистила лисички и лениво (а при такой жаре мысли не способны течь иначе) думала о приезде Ули, представляла, как она обрадуется, увидев бабу Мокрину крепкой и бодрой. И мне обрадуется. Посмотрит на меня быстрым, вопрошающим взглядом, как бы мельком, а просветит насквозь. Она знает меня лучше, чем я сама. Меня и все обо мне. Она одна знает, какие у меня на самом деле отношения с Антосем. Она – другая моя ипостась, только лучшая, чистая, без хромоты телесной и душевной. Ручей ее жизни течет рядом с моим, но воды не смешиваются, лишь берега соприкасаются иногда, в определенные важные моменты: когда она рожала, мне было больно, когда я сидела в тюрьме, она иссохла…

Я выскочила замуж еще студенткой. (боже мой, когда прошла жизнь?!) Муж занялся бизнесом, у нас появилась квартира в Минске, заколдованный круг кухня – гостиная, гостиная – кухня не выпускал за свой предел. Пока я не услышала приговор: у вас никогда не будет детей. Это было семнадцать лет назад.

«В ваших рассказах сплошь крайности, – сказал мне недавно Дынько. – Француз приезжает изучать наши нравы и его убивают на помойке. Разве это правдоподобно?» А разве правдоподобно, когда вкусные запахи жаркого на кухне и прохладный запах свежего белья в шкафу, и уютный свет торшера вечером в спальне, и блестящие, навощенные листья монстеры в гостиной – все вдруг, в одно мгновение, теряет всякий смысл в беспощадном звучании шести

слов: у вас никогда не будет детей!.. Смоковница бесплодная, зерна на камне… Лицо Антона, растерянное, смятенное лицо, которое он прячет от меня.

А потом – чудо! Рождение моей девочки.

А потом – смерть.

Диагноз рак поставила моей доченьке врачиха 2-й клинической больницы, где малышка лежала на обследовании. Я вышла из клиники как в жутком сне. Не помню, как оказалась на Сторожевской. Там мне стало трудно дышать, показалось, что серые в зернистых блестках стены домов обваливаются на меня, в глазах потемнело, и меня вырвало. Я легла на канализационную решетку возле гастронома, свернулась калачиком. Порошил снег, но я не чувствовала холода снежинок. Не чувствовала ничего, и мрак обступил меня. Пришла в сознание от того, что надо мной заливалась лаем маленькая собачка, а незнакомая женщина трогала меня за плечо:

– Что с вами? Вы можете встать?

Это была Мария Войтешонок[15] со своей Мурзой. Спустя два года, Мария снова спасла меня от мрака, устроила в Новинки, где я прошла курс лечения зависимости от наркотиков.

Когда мы с Антоном поженились, оба в равной мере были во власти безмерного чувства, которое называют любовью, нас неудержимо тянуло друг к другу физически, а души наши были предельно распахнуты одна перед другой, и казалось, что так будет вечно. Потом острая стадия любви миновала, любовь незаметно перешла в спокойную прочную дружбу, которая тоже казалась вечной. Несокрушимой. Но сокрушилась. Жена-наркоманка – это тяжело вынести. Даже если человек готов и хочет за тебя бороться. А Антон не очень-то и хотел.

Жена-наркоманка. Бездетная. Без желания жить. Без блеска в глазах. С тусклыми волосами, которым не поможет ни один рекламируемый по телеку шампунь. Поэтому я не очень удивилась, когда однажды зазвонил телефон и незнакомый женский голос в трубке не без удовольствия сообщил: «В кругах, где вращается ваш муж, не иметь любовницы считается дурным тоном. Это дополнение к бизнесу. А вы либо слепы, либо круглая дура». Вот так. Слепая круглая дура. От себя могу добавить, что еще и мягкотелая, в смысле безвольная, и мягкотелая в буквальном смысле – у меня целлюлит на бедрах. Чему же было удивляться?

[15] Придуманное автором лицо.

Ночь после дождя

Наконец-то прошел долгожданный дождь. А после дождя самое время окучить картошку. Работа серьезная. Гораздо более серьезная, чем может показаться пользователю Интернета или, скажем, топ-менеджеру. Бабушка рвалась отправиться на наше небольшое картофельное поле немедленно, я с трудом смогла ее удержать. Зимой ей удалили катаракту, и врач предупредил, что теперь бабушка должна избегать тяжелой работы. Но как ее заставить избегать? Она привыкла делать все сама и никакую работу не считает тяжелой. Наработается, а прооперированный глаз потом начинает гноиться. Единственный способ оградить бабушку от работы – сделать все самой, упредить бабушкины хлопоты.

О необходимости окучить картошку говорилось давно, оставалось только дождаться дождя. И теперь надо было спешить. Но я не могла тотчас отправиться на картофельное поле – под присмотром и контролем бабули пересаживала бураки, как называют в наших краях свеклу, и нервничала, думая о том, что завтра утром, пока я буду готовить еду на день, бабуля возьмет мотыгу и потащится *на картоплю*. И бабулин глаз снова заплывет гноем. Поэтому я решила окучить картошку ночью.

Тихонечко, чтобы не разбудить бабушку, собралась, вылила на себя добрый литр жидкости против комаров и часов в одиннадцать вечера вышла из дому.

Было призрачно светло – над Добратичами сияла полная луна. Нет ничего прекраснее полнолуния в Добратичах! Селена заливает мир фантастическим светом, серебристое сияние чередуется с густыми тенями. Песчаные холмы напоминают барханы Алжира, трава в низинах становится фиолетовой, загадочной, как на иллюстрациях к волшебным сказкам. Такая ночь – не только нечто бесценное само по себе, но и наполняет смыслом твое довольно пустое существование.

Мотыгу я еще днем принесла на картофельное поле и спрятала в борозде. По моим расчетам, я должна была управиться с окучиванием часа за четыре. Принялась за работу под кваканье лягушек – в пойме Буга давал концерт сводный лягушачий хор. Старалась действовать мотыгой равномерно, не спешить, а то быстро выдохнусь. Ибо шейпинг и бассейн – не та тренировка, после которой нетрудно четыре часа вкалывать в поле. Нет у меня той закалки и терпения, которой обладают тяговитые добратинские бабули, нет их сноровки. В девяносто лет баба Мокрина копала картошку проворней, чем я в сорок. Размышляя об этом, я прошла туда-обратно несколько борозд и остановилась передохнуть. И тут слева от меня, на тропе, идущей вдоль кромки поля, послышалось мелодичное звяканье – кто-то ехал на велосипеде, и звонок на выбоинах тропы позванивал. Я инстинктивно спряталась за кустом смородины (*паречки*, как у нас говорят; на прибужских огородах ее полно). Попадаться кому бы то ни было на глаза не входило в мои планы. Тем более, что на велосипеде ехала в светлом лунном сумраке тетка Калёниха. Интересно, куда это она посреди ночи? Ехала Калёни-ха медленно, видимо, боялась свалиться с велосипеда на колдобине, что-то невнятно бормотала себе под нос. Наконец звоночек затих вдали. Хорошо, что я спряталась, и Калёниха меня так и не заметила, а то назавтра вся округа знала бы, что Мокринина Алка ходит по ночам в поле, на картофельные посадки, и там чарует, ворожит. И Калёниха поклялась бы, что видела у меня хвост размером с веретено. Я ее хорошо знаю.

Не успела я перевести дух и взяться за мотыгу, как на дороге с противоположной стороны поля, справа от меня, появилась другая фигура, которая двигалась в направлении дач. Знаменитый поэт Михась Ярош шагал быстро, целеустремленно, но то и дело оглядывался, словно чего-то опасался. В лунном свете его лицо было мертвенно бледным. Слава богу, и он меня не заметил.

Да-а-а, интересно! Ты смотри, какое оживление наблюдается ночью в околицах Добратич! Никогда бы не подумала. Чудеса, да и только. Куда это понесло Калёниху среди ночи? Не на любовное же свидание! Пора любви для нее, пожалуй, миновала. Нет, вполне вероятно, что она еще может выйти замуж (и это будет в четвертый раз), но ради того, чтобы строить любовные куры, вряд ли оседлает велосипед в полночь! Так куда же ее понесло? А Михась? Неужто завел роман с какой-нибудь молоденькой дачницей, ведь направился он явно к дачам!.. Любопытство мучило меня сильнее, чем комары, ибо средство от любопытства пока еще не продают в парфюмерном отделе универмага, а любопытство, даже когда тебе пятьдесят, остается ненасытным.

Несколько часов я вкалывала, не разгибая спины. Лягушачий концерт на Буге окончился, ночную тишину время от времени нарушал лишь одинокий непонятный звук: где-то что-то гудело, нудно, подолгу, гудение с подвыванием вдруг обрывалось, затем начиналось снова. Этот звук мне знаком с детства: так порой и тогда что-то гудело на границе, и мы, дети, связывали этот звук с таинственной сигнализацией.

Луна помаленьку сошла с зенита, а я управилась со своей работой. Осталось окучить несколько коротеньких поперечных бороздок. Но пришлось прерваться: издалека я услышала звоночек велосипеда Калёнихи, которая ехала обратно, – надо было быстренько спрятаться за тем же кустом. Я сразу увидела, что Калёниха возвращается с каким-то багажом, с каким-то узлом на багажнике велосипеда. Не успела удивиться, как сердце у меня дрогнуло от испуга и замерло, – за тропой, совсем близко, в ольшанике за линией границы, за колючей проволокой на нейтральной полосе, кто-то стоял. Высокая, выше нормального человеческого роста фигура в странном белом балахоне с черным пятном вместо лица. И этот кто-то (или что-то) смотрел на меня. Калёниха, ничего не замечая, проехала мимо. Белый призрак исчез, растаял в тумане, что наползал с Буга. А я не могла сдвинуться с места. Окаменела, чувствуя, как страх леденит кровь, сжимает, разрывает мои внутренности. Пятидесятилетняя тетка, а испугалась, как ребенок. Кого или что я минуту назад увидела? Смерть? Да, смерть!.. Другого ответа не было. Именно так выглядит смерть по добратинским поверьям, такой мы представляли ее в детстве: гигантская женщина в белом балахоне, с неумолимым грозным лицом, черным, как бездна вечности. Правда, она должна быть с косой в руках, но, может, я не разглядела, что она с косой, все-таки ночь…

Ноги побежали сами. Надо побыстрее убираться отсюда! Потому что на нейтральной территории человек в ночное время не может находиться по определению, там никого не может быть ночью. Да и вид у создания был явно нечеловеческий! Это существо с того света! И приходило оно либо за Калёнихой, либо по мою душу! И придет снова. Не зря говорят, что смерть сначала показывается, а уж потом забирает с собой.

Я мчалась домой, всеми фибрами души желая только одного: как можно скорее оказаться за надежно запертой дверью. На ключ и на все засовы. Мчалась изо всех сил и затормозила себя лишь у нашего забора, чуть на него не налетела. Брезжил рассвет (в это время заядлые грибники отправляются в лес с лукошками и карманными фонариками), и в светлых сумерках я увидела возле дома незнакомого человека: поднимаясь на цыпочки, он заглядывал в окна. Разглядела, что он молодой, коротко стриженный, в темной курточке. После пережитого на картофельном поле ужаса я даже не испугалась: уж это, несомненно, был не призрак, а человек во плоти. Довольно плюгавый, ниже меня ростом. Не колеблясь, я толкнула калитку. На ее скрип незнакомец обернулся, перепугался (я успела заметить по выражению лица, что перепугался) и бросился наутек. Я погналась за ним.

У нас три калитки: в сторону огородов, в сторону станции и «за грибами». Он выскочил в ту, которая «за грибами», в сторону леса, и исчез за деревьями. Я закрыла калитку на засов (хотя от чего могла оградить эта мера предосторожности, спрашиваю я сегодня), прошлась вокруг дома, затем вошла в дом, заглянула во все комнаты. Бабушка спокойно спала, тихо

похрапывала. Ложиться спать мне и в голову не пришло. Вышла на веранду, присела на скамью. Задумалась. Было о чем подумать!

Глянула на кофеварку, собралась было сварить кофе, но решила, что сейчас мне не повредил бы глоточек чего-нибудь покрепче. Ну, если честно, я втайне от самой себя была рада, что у меня появился долгожданный повод выпить. Мысль о глоточке чего-либо более крепкого, чем кофе, давно мелькала в голове. Несколько минут я колебалась, борясь с собой, потом махнула рукой: «А! Один глоточек!»

Бабушка вела строгий учет запасов алкоголя, который весь предназначался «на экспорт»: для расчета за коня, которого весной и осенью она нанимала для вспашки огорода, и гостям. Но у меня был свой запас, бабушка о нем не знала: пара бутылок виски из дьюти фри. Я привезла их из города на случай, если нагрянут гости, которые не станут пить «Беларусь синеокую» из автолавки. Я откупорила одну из бутылок – свернула ей головку, налила немалую толику в маленковский стакан и решительно отхлебнула изрядный глоток, чтобы сразу покончить с угрызениями совести.

Когда стакан опустел, я уже смотрела на мир с гораздо большим оптимизмом. Как гусь из лужи, высунула голову из алкогольных глубин и думала обо всем случившемся с пьяным благодушием. В самом деле, чего это я так разволновалась? Ну, увидела я Калёниху и Михася в неурочный час, там в поле, и что? Да ничего! Обоих я знаю с детства и никак не могу подозревать их в каком-то мрачном злодействе. Нет, вполне возможно, что Калёниха наведывалась куда-то с не очень-то благовидной целью: может, колдовала на картофельном поле Макаручки, чтобы картошка у нее не уродила; может, тайком доила колхозных коров, которые сейчас и ночью пасутся возле Хутора; может, накосила сена на колхозном лугу. А Михась… Ну что Михась? Он поэт, романтическая натура, влюбчивый, как все поэты, мое предположение правильно: он шел на свидание с какой-нибудь молоденькой дачницей.

Что до привидения в ольшанике на нейтральной полосе, то это именно привидение – оно мне привиделось. Никого в ольшанике не было. Не бывает никаких привидений!.. Я ведь не темная старуха, чтобы верить в какие-то привидения, – я живу в двадцать первом веке и у меня высшее образование!.. Давай, сказала я себе, рассуждать логически: я устала, всю ночь провела на ногах. От усталости мне и померещилось. А человек, который заглядывал в окна, скорей всего дачник из компании Сивого. Пьянчужка. Надеялся что-нибудь стащить и обменять на выпивку. Таких теперь много, как мошкары.

Дверь веранды отворилась, и вошла баба Мокрина, удивилась, что я уже не сплю. От выпитого виски я окосела, но усилием воли сфокусировала взгляд на бабуле, спросила, что сегодня готовить на обед. Бабуля пожелала борща с отварной *картоплей* и пошла открывать курятник.

Закудахтали, вырвавшись на волю, куры. Брызнули на веранду первые лучи солнца. Началось утро.

Но как же бранилась бабушка, когда узнала, что ночью я окучила картошку! Как честила меня, что таскаюсь по ночам незнамо где! Это напомнило мне ее лучшие годы.

Черное болото

Этим летом я сама себе напоминаю хомяка в колесе: пока колесо стоит, набиваю защечные мешки, осматриваюсь с интересом, даже красоту навожу… Но вот кто-нибудь крутанет колесо – и побежала. Остановиться невозможно. Сходя с ума. Изнемогая. А сообразить, как соскочить с колеса, не хватает мозговых извилин.

…Я бродила по дому, не зная, за что приняться. Точнее, зная: надо бы убрать в доме перед приездом Ули, только вот браться за уборку совсем не хотелось. Вместо того, чтобы усердствовать по закоулкам дома с пылесосом, я рухнула на диван и щелкнула пультом телевизора.

– Радетели за народ всех мастей и оттенков, – сразу же послышалось с экрана, – давно обанкротившиеся политиканы и воротилы бизнеса, для которых банкротство – лишь вопрос времени и интереса правоохранительных органов, усмотрели в объявленных досрочных выборах возможность удовлетворения своих мелких, но навязчивых амбиций.

«Где все-таки берет БТ[16] таких дикторов? – лениво подумала я. – Нет, теоретически, конечно, понятно, по каким критериям их туда отбирают. Но все-таки, все-таки… Ведь такую вот сразу и не найдешь, поискать надо. Щеки в ширину плеч, глазки как буравчики в толще залежей жира. Даже лоб жирный. Сиськи распирают зеленую блестящую шмотку – ну точно жаба на нересте. Да при такой внешности верх карьеры – сидеть “на очке” и объявлять “занято!”»

– Вот и сегодня, – вещала тем временем бабища в телевизоре, – появился очередной кандидат в президенты. На этот раз это некто Антон Бобылев, директор унитарного предприятия «Гамма».

Меня подбросило на диване. На экране изменилась картинка: мой муж, сидя в своем кабинете, что-то говорил, но слов не было слышно, вместо него толстячка вещала за кадром:

– Белорусский народ прекрасно помнит, сколько бед принесло ему в прошлом чернобыльское гамма-излучение, сколько горя и слез, материнских бессонных ночей, страданий детей. Гамма – знак беды для нашего народа, и симптоматично, что человек, возглавляющий предприятие с таким названием, пользуясь демократичностью нашего государства – возможно, излишней, – пытается добиться своих явно неблаговидных целей за счет либеральности белорусских законов. Несомненно, что наши люди смогут отличить подлинное от наносного и разберутся, что на самом деле представляет собой каждый из кандидатов и кто из них действительно способен защитить нашу страну от грозящей катастрофы…

Она трещала дальше, но я уже не слушала.

Заболела и закружилась голова. Он сошел с ума! Бросилась к телефону – и городской, и мобильник прочно заняты. Сошел с ума! Невидящими глазами я смотрела на экран, на котором уже грохотали какие-то бульдозеры.

Он сглупил, это понятно. Кратковременное помутнение рассудка. Ничем другим нельзя объяснить такой шаг. Добьется интереса правоохранительных органов, если не чего-то похуже. Добьется, что и его кости, и кости его предков да двадцатого колена тщательно перемоют и так же тщательно смешают с грязью. Добьется, что вытащат на свет и мою тайну, мой вечный страх, мою вечную вину, которые я считала похороненными навсегда.

Вечер прошел сумбурно. Телефоны Антона по-прежнему раздражительно отвечали короткими гудками – занято!; телевизор я просто боялась включать. Боялась я и телефонных звонков, которые могли уже сегодня раздаться здесь, у меня. Но старый телефонный аппарат в кухне на полочке молчал и весь вечер, и утром – готовя завтрак, я все время прислушивалась.

[16] Белорусское телевидение, придуманная автором телекомпания.

Вдруг из леса, как продолжение моих тревожных ожиданий, – отчаянный детский крик. Я уронила драник, который в тот момент переворачивала на сковородке, и бросилась к двери – на такой крик реагируешь мгновенно. Вихрем вылетая из дома, машинально схватила плоскорез, стоявший у крыльца, помчалась к калитке, той, что «за грибами». Краем глаза увидела, что за мной, опираясь на палку, заспешила бабушка.

От калитки до леса несколько десятков метров, и я сразу увидела троих детей. Девочка-подросток, девочка помладше и мальчик. Они продолжали кричать. Что их напугало? Бродячая собака? Пьяный хулиган?

Бледные испуганные лица, залитые слезами. Старшая девочка, согнувшись, держалась рукой за лодыжку, вопила:

– Змея! Меня укусила змея!

– Боюсь! Боюсь! – заходилась криком младшая.

Мальчик просто визжал.

Это была гадюка. Толстая. Головка непропорционально маленькая. Гадюка замерла на стволе поваленной сосенки, только раздвоенный язык шевелился. Я прицелилась, одним ударом плоскореза отрубила гадючью головку и сама чуть не закричала, когда обезглавленное тело змеи упруго заметалось, забрызгивая песок кровью.

Когда гадючья кровь капает на хлеб, говорит поверье, хлеб стонет. А песок безмолвен, что на него ни пролей. Он лишь потемнел, впитав в себя кровь гадюки. Я не боюсь пресмыкающихся до потери сознания, как некоторые дамы, но сейчас радужная дуга завертелась у меня перед глазами.

– Обопрись на меня, девочка. Не кричи! Все перестаньте кричать! Змеи больше нет. Не кричите, я сказала!

Но дети кричали. Бабушка уже почти бежала к нам. Я испугалась, что она неминуемо упадет и, не дай бог, сломает шейку бедра. К счастью, она не упала. Добежала, запыхавшись, выхватила у меня из рук плоскорез и с размаха рубанула им возле моей ноги. Еще одна, чуть поменьше, обезглавленная змея судорожно задергалась на песке. Удивительно, как это бабуля сразу увидела вторую гадюку: очки у нее сильные, конечно, но главное – бабулина интуиция.

Какие норы свои искали здесь змеи – не знаю. Может, у них здесь была змеиная свадьба, может, проходил симпозиум или предвыборный съезд? Раньше в Добратичах змей не было.

– Вызывай скорую! – распорядилась бабушка. И о детях: – Это Уругвайцевы внуки.

Я с трудом преодолела подступившую к горлу тошноту и побежала домой. У ворот оглянулась: укушенная девочка хромала к забору, опираясь одной рукой на плоскорез, другой – на бабушкину палку, а баба вела за руки заплаканных малышей.

Бестолково тыкая мимо кнопок, я набрала номер Зарницкой.

– Ленка, здесь девочку укусила гадюка, в ногу, что делать?

– Не паникуй. Обеспечь покой ноге. Никаких жгутов. Дай девочке крепкого чаю или лучше кофе. Вы в Добратичах?

– Да.

– Буду через пять минут, я в Страдичах.

Я поставила чайник на газ и бросилась встречать Зоську, только теперь я ее узнала: старшая внучка Уругвайцев.

Нога опухала на глазах, казалось, под кожей разливаются чернила. Зоська уже почти не могла ступить на больную ногу.

– Потерпи, зайчик, сейчас приедет врач, тетя Алена, а пока я тебе дам кофе, тебе от него полегчает.

Зося слабеющей рукой вытерла пот со лба и вдруг обмякла, зашаталась. Я подхватила тоненькое тельце под мышки, донесла до гамака. Зося потеряла сознание, откинулась на спину и странно захрапела. Столбенея, я смотрела на нее, не зная, что делать.

– Голову поверни ей! Набок! – бабушка возникла за моей спиной и сама повернула девочке голову. Зосю вырвало.

Засвистел чайник. Я заварила кофе, но он уже был ни к чему – хлопнула дверца Ленкиного мерседесика, и вот уже моя подружка в неизменном своем красном пиджачке бежит к нам, на ходу открывая докторский саквояжик, отламывает головку ампулы с прозрачной жидкостью и делает Зоське укол.

– Теперь в больницу, – командует Лена. – Не бойся, от укуса гадюки еще никто не умер, но девочке необходима капельница с антидотом.

Мы отнесли Зосю в машину, уложили на заднем сиденье; в Ленкин мерс-микроавтобус усадили малышей. Я села рядом с Леной.

– С Богом! – напутствовала нас бабуля. – Будьте осторожны!

Малышей по дороге высадили возле дома Уругвайца, быстренько объяснив ситуацию их матери.

Ленка лихо водит машину.

– Зачем же надо было убивать змей? – сердито отчитывала она меня, когда я рассказала, как все произошло. – Неуч!

– А что я должна была делать?! – возмутилась я. – Кормить их молочком из мисочки?

– Поймать и отвезти подальше в лес! Или на Черное болото! – отрезала Ленка, обходя на повороте какой-то дряхлый форд. – Что за темные люди – убивать змей!!! – Она возмущенно нажала на газ, и стрелка спидометра поползла к 140 (мы ехали по шоссе, построенному и замощенному булыжником еще во времена Польши; недавно булыжник залили асфальтом, и дорога стала вполне современной). – Все случаи смерти от укусов ядовитых змей в Европе – результат неправильно оказанной помощи. Так называемой помощи! Закрутят жгут на ноге – вот тебе и отравление продуктами распада тканей. Или положат на спину, а человек без сознания, вот и захлебывается рвотой («Голову поверни ей!» – холодея, вспомнила я.). Элементарщины не знают! А как плоскорезами лупить – это знают…

За окном мелькали дома предместья. Зося стала дышать ровнее – колесо остановилось, и хомяк заметил, что едет в Брест в перепачканной юбке и ветхой, в мелкие дырочки, майке. А Ленка все читала мне лекцию об оказании первой медицинской помощи, при этом одной рукой она поворачивала руль, а другой – набирала на мобильнике номер приемной областной больницы: там ее все знали, потому что и врачи держат домашних животных.

Ленка – ветеринар. Ее мама когда-то категорически не пускала ее в ветеринарный институт – в наши молодые годы «звериные врачи» могли надеяться только на работу в колхозе, и Ленкина мама искренне не хотела дочери такой доли. А хотела, чтобы она стала учительницей – это гарантировало заработок и определенный социальный статус. Мама не могла предвидеть, как все обернется, и хотела как лучше. Не могла предвидеть и Ленка, но все-таки настояла на своем, ибо, сколько я ее помню, нежность ее ко всему, что дышит, была безграничной. Так Ленка не стала учительницей начальных классов, а выучилась на ветеринара, покинув при этом семью: ее мама не прощала непослушания, а это был настоящий бунт. Теперь у Ленки своя ветлечебница, две дочери от разных мужей, приемный сын и внук. Алый Ленкин пиджачок хорошо известен в Бресте и в окрестностях; к нам она приехала из Страдичей, где принимала роды у сенбернарихи стоимостью в полторы тысячи евро – любимицы семьи протестантского проповедника. У нее необычные руки – широкие, сильные, с длинными гибкими пальцами, феноменальная интуиция и способность не спать сутками, потому меня не удивляет, что она стала очень состоятельной – во всех смыслах этого слова. Третий муж Ленки моложе ее на пятнадцать лет; после того как он сказал однажды, что ради нее готов стать не только геронтоманом, но и некрофилом, она согласилась выйти за него замуж.

А познакомились мы с Зарницкой на картошке. Она тогда училась в шестом классе в 13-й брестской школе и была первой, кто заговорил с нами, деравенскими, выбиравшими бульбу

на соседних бороздах. И единственной, не исключая и учителей, кто не хихикал, слыша нашу речь. Потом, когда мы с Ульянкой крепко подружились с Зарницкой, она получила от нас прозвище Заря-над-Бугом, или Зарница – от фамилии и еще больше от росписи: Заря – и заковырка.

Зосю устроили в реанимацию, в отдельный бокс. Чувствовала она себя лучше – подействовали лекарства. Доктор заверил меня, что опасности никакой нет, и, договорившись, что вечером Зосю навестит Зарницкая, а завтра приеду и я, мы покатили назад – Ленке надо было вернуться в Страдичи.

В Добратичах, высадив меня, Алена подняла капот, чтобы что-то там поправить, и попросила принести попить. Потому первой бабу увидела я сама: откинувшись, она сидела за столом на веранде, на лавке, голова откинута назад, платок слегка сполз. Ямка рта. Очки наперекос на худом желтоватом лице.

Она была мертва.

Чужая смерть

Хлопоты, связанные с похоронами, и сами похороны, на которые Ульянка все-таки успела, прошли для меня смазанно. Людей пришло немного, но отовсюду: тропинками, заросшими мыльнянкой и дождевиками, под тучей, неожиданно вспухшей за Бугом, из Страдче, Дуриче, Заказани, пришли люди – все моложе нашей бабы. Собрались добратинцы, за исключением старой Ляльки – она давно не ходит: отнялись ноги. Пришел и Афанасий Петрович – бабушкин дружбан из дачников. Сегодня за поясом у него не было топорика, с которым он обычно не расстается, но штаны были все те же – чисто выстиранные, когда-то синие. Он единственный заплакал, когда из дома во двор вынесли гроб. А еще цапля отозвалась: она, дугою выгнув шею, пролетала в тот момент над двором и крикнула: «Ай!». Я видела все через какую-то черную пелену: людей, гроб, цаплю – светлое пятно на темной туче, ползущей за ней вслед… Ульяну, Уругвайца, Калёниху, Ярошиху, Оксанку…

Запыхавшаяся Оксанка прикатила на велосипеде последней. Я ее не сразу узнала: она не пополнела, как можно было ожидать, но за то время, что мы не виделись, – а это с десяток лет – изменилась неузнаваемо. Она была как в воду опущенная. Мы учились с ней в одном классе, а сейчас в той же страдичской школе она директорствует. Кивнув нам, она положила велосипед на траву, подошла к гробу, поцеловала бабушкину руку. Выпрямилась, задумалась и погладила бело-коричневую руку покойницы.

По традиции мне нельзя было, но я все равно обмывала бабушку вместе с Ярошихой и Катей – сами они бы не управились. Ноги и руки отмыть не удалось – за ногтями, в мелких трещинках и капиллярах кожи осталась земля, настолько сильно въевшаяся, что ее не брало ни мыло, ни пемза. И тогда я подумала, что наша баба, которая скоро станет добратинской землей, была ею и раньше – по крайней мере, частично. По крайней мере, в части рук и ног.

Держась за край гроба, Оксанка заговорила. У нее изменился даже голос – в нем исчезли высокие и низкие тона, он звучал слишком ровно. Говорила она по-нашему, и люди удивленно подняли головы: видно, не ожидали такого от директора школы. Хотя слова были простыми.

– Вот и опять мы собрались. И снова хороним. Вот и вы, тетка Мокрина, нас оставили. Ушли от нас. Натрудились за жизнь, наработались. Не знали ни отпусков, ни выходных, а сейчас отдохнете. Земля вам пухом. Бог примет вашу душу и посадит одесную. А мы останемся одни, без вас. Зарастут бурьяном ваши черные стежки, нам уж их не выходить, не вытоптать. Не будет с нами ни вашей речи, ни вашей помощи, ни вашего совета, ни вашего привета.

Неизменной в облике Оксанки со времен детства осталась только небольшая белая вьющаяся прядь, выбившаяся из-под черного платочка; на ее лице и в вырезе платья на груди поблескивали мелкие капельки пота, несмотря на то что на улице быстро и заметно холодало.

– Вот хороним опять, и горько на сердце. Сироты мы давно, а без вас осиротеем еще больше. Мы вас похороним, а нас кто в землю положит, когда наш час придет? Останется ли тут хоть кто-нибудь? Что ж… В наш час, в нашу годину с нас и спросится, а вы спите спокойно, тетко, вы жизнь прожили достойно, и мы вас не забудем.

Оксанка поклонилась и отошла.

Тучу пронесло мимо – вместо дождя дохнуло холодом. Порывы ветра разносили по двору сладкий запах скабиозы и от желтого ослинника запах покойника. Гроб повезли на кладбище на телеге. Те, кто пришел из соседних деревень, пошли следом. Добратинцы же, кроме Уругвайца, на кладбище не пошли – не ходоки уже. Не те годы. Не пошла и Оксанка: обняв Улю, притулившись ко мне, объяснила, что ей срочно нужно вернуться в школу – сегодня должны привезти новые грифельные доски и парты, еле часок выкроила, чтобы попрощаться с бабой Мокриной. Однако пообещала зайти на днях – поговорить…

Рассказывать о похоронах нетрудно. О панихиде под высокими надмогильными соснами, о песке, высыхающем на глазах и время от времени стекающем ручейками в свежевыкопанную могилу, о том, как закрывают крышку гроба, как опускают гроб в яму и бросают на него полотенца, крест-накрест… Я видела рядом свое живое отражение – сестру, гусиную кожу на ее руках, белое лицо. Бабушка не раз строго наказывала нам не плакать на ее похоронах: плакать по такой старой людыне – против добратинского этикета. Ульянка не плакала; не плакала и я, но не только потому, что придерживалась наказа бабы, а и потому, что меня мучило, черной пеленой затягивало сознание – то, о чем я еще не успела рассказать Уле… Рассказывать нетрудно, трудно было там стоять.

На протяжении всех этих дней у нас не было свободной минутки, Ульянка даже не успела разобрать свои вещи. Как бросила сумку в сенях, так она там и стояла в уголке. Нам некогда было поговорить, а то, что я собиралась сообщить ей, нельзя было сказать походя, в спешке. Придерживаясь старого обычая, мы сидели по ночам возле бабушкиного гроба – сидели посменно, потому поговорить не получалось. Днем к гробу приходили бабы – только днем: уже не те годы, чтобы по ночам ходить через лес… А нам в это время надо было заказать гроб, договориться насчет могилы и с попом, почистить тридцать две селедки и столько же карпов, нажарить мягких котлет для старых добратинских, страдичских и заказанских зубов, купить водки и водички – и еще сто двадцать пять дел переделать… Хорошо еще, что Зарницкая помогала, разъезжая из Бреста – в Брест на своем мерседесике.

Сегодня, улучив минутку, она тихонько спросила меня: «Сказала?». «Нет, – тоже шепотом ответила я. – Пока нет».

Ни Антон, ни Юрка на похороны не приехали. Юрка, Ульянин муж, в Кракове готовился к международному конгрессу архитекторов. Он считался там ответственным организатором, потому мы решили, что лучше ему остаться и довести дело до конца: без него конгресс наверняка сорвется. А на Антона я рассчитывала. Я так и не смогла ему дозвониться – пришлось дать телеграмму. Поздно вечером он позвонил мне сам. Далеким голосом посочувствовал, пожалел, что не может приехать, и предложил прислать помощника с деньгами и машиной. Разозлившись, я отказалась от такой помощи и хотела было бросить трубку, как вдруг вспомнила жабу в телевизоре (к тому времени я намертво (какой страшный каламбур!) позабыла о ней и обо всем, с ней связанном).

– Тосик, что ты надумал? Зачем тебе это? Я так боюсь за тебя…

– Не волнуйся, – голос Антона стал мягче, приблизился, он явно не ожидал этого Тосика, напоминания о молодости и беззаботности, вырвавшегося нежданно и для меня самой. – Все будет хорошо. Ты же знаешь, я всегда играю наверняка, только с козырями.

Как жестко резануло это «играю»! Давненько мы с тобой не играли, я вообще забыла, что такое игры, – все в нашей жизни было даже слишком серьезно. Но я не успела ничего из этого сказать – на кухню, где я разговаривала, зашел Уругваец, а за ним – озабоченная Ульяна. Мое присутствие требовалось на очередном хозсовещании, и я поспешила попрощаться.

После поминок мы с сестрой не стали убирать со стола.

– Пошли наверх, – предложила Ульянка, когда все разошлись из-за большого, составленного из трех, стола. – Полежим немного. Ноги ноют.

В своей комнате она прилегла на диван и закрыла глаза рукой – бабушкин жест, который мы обе переняли.

– Кажется, мы сделали все так, как она наказывала, – сказала сестра, не открывая глаз. – Как хотела. Поп только мне не очень понравился – по-моему, слишком торопился. Как тебе показалось?

– Ульянка, мне нужно сказать тебе одну очень важную вещь.

Ульянка открыла глаза и присела, опираясь на подушки.

– Бабушка умерла не сама, не своей смертью, – я решилась рассказать сестре все, что произошло. – Она умерла из-за того, что кто-то добавил в кофе кардиостимфорте. Я заварила кофе для Зоськи, когда ее укусила змея, но дать не успела – Зарницкая увезла нас в больницу. А бабушка, видно, по своей привычке, чтоб добро не пропадало, добавила в кофе молоко и стала пить… А там было это лекарство…

– Откуда ты знаешь? Почему не рассказала раньше?

– Когда мы приехали, наполовину выпитая чашка кофе стояла перед ней на столе. А знаю наверняка благодаря феноменальному обонянию Зарницкой. Прибежав на мой крик, она бросилась к бабушке и почти сразу объявила: «Она умерла». Знаешь, лишний раз убедилась, какая она молодец и какая я недотепа. Она настояла на том, чтобы мы перенесли бабушку в дом, вызвала скорую: а вдруг реаниматоры все же… До приезда скорой делала искусственное дыхание… А потом, когда скорая, констатировав смерть, уехала, мы вернулись на веранду. Я сидела как истукан и ничего не могла сказать, а она набирала по мобильнику Хведьку… И вдруг как-то странно понюхала воздух – как собака, бывает, делает стойку. Потом подошла к столу, взяла чашку с кофе, понюхала и попробовала на язык… После чего удивленно посмотрела на меня и сказала: «Знаешь, Алка, а в кофе что-то добавлено. А ну, дай-ка пачку!». Понюхала и ее и заявила: «Возьму-ка с собой и сделаю анализ!». Вечером она снова приехала и сказала, что в заваренном кофе, так же как и в пачке, нашла кардиостим-форте. Очень большую дозу. Достаточную, чтобы вызвать сердечный приступ.

– А врачи скорой ничего не заметили? – удивилась сестра. – Ничего подозрительного?

– Конечно, нет. Девяносто семь лет! Чего тут подозревать, какие могут быть подозрения. Старая она. Написали справку, и все. В справке, кстати, написано, что причина смерти – сердечный приступ, но никому и в голову не пришло, что он спровоцирован. Никто бы ничего и не заметил, если бы не Зарницкая.

Мы смотрели друг на друга. Две сестры, похожие до невозможности. Только одна с чуточку искалеченным телом и сильно искалеченной душой. Я читала ее мысли, как свои. Из-за меня Уле в жизни досталось в хвост и в гриву; как сестра я далеко не подарок. Бывало всякое. Она искала меня в трущобах на Розы Люксембург и находила там в бессознательном состоянии. Она платила докторам за выведение меня из запоя. Было дело, мы с ней целый год не разговаривали. Из-за меня ей пришлось давать взятку. Однажды я уже имела отношение к делу об убийстве…

И вот опять.

Самое главное, что ситуация абсолютно непонятная. Кто и зачем подсыпал кардиостим-форте в кофе? Зачем и кто?

– Так, – Ульянка помолчала. – Ну и куда ты снова вляпалась?

Я замотала головой.

– Нет, я тут ни при чем, точно. Даже представить себе не могу…

– А я могу! – сестра вскочила и заходила по комнате. – Я могу! Ты снова взялась за старое! – она села и потерла лоб. – Сколько можно, Алла! Мы же договаривались!! Уже пятьдесят не за горами!

Я молчала, сдерживая слезы: они подступили, как всегда, неожиданно.

Ульянка взяла себя в руки.

– Ну, прости, сестричка, – она обняла меня за плечи.

Я вытерла глаза.

– Это ты прости меня.

– А твой кардиостим-форте, где он? – спросила Ульянка.

– На месте.

У меня проблемы с сердцем, и я должна постоянно принимать этот препарат, но только по полтаблетки в день. Мы с Зарницкой проверили: все мои лекарства оказались нетронутыми.

– Так, так, так… Значит, ситуация такая. Кто-то подсыпал в кофе сильный сердечный препарат. Следует полагать, с целью отравить. Насколько я знаю, им можно смертельно отравить даже здорового человека, если доза большая. А больного – вот как ты…

– Или как ты, – бросила я.

Ульянка на секунду задумалась и кивнула.

– Да, как я. Нам достаточно превысить дозу, чтобы спровоцировать опасный сердечный приступ… Зосе, может, ничего и не было бы – она молодая, и у нее, слава богу, с сердцем все в порядке… У бабушки сердце было очень изношено, это так, но она никогда не пила кофе… Ты правильно заметила: то, что кофе выпила она, – роковая случайность. Значит, значит, значит… Значит, с уверенностью можно утверждать: кардиостим-форте в кофе предназначался не для нее… Для тебя?

– Не знаю… Но я видела смерть… За границей, ночью…

– Алка, а я видела початую бутылку виски за холодильником на веранде… Не удивлюсь, если вскоре ты углядишь и чертенят в межъящичном пространстве.

Пойманная на месте преступления, я молчала. В доме было очень тихо.

– Бабушка умерла не своей смертью. Чужой. Либо твоей, либо моей. Это все, что мы знаем.

– Нет, я, действительно, видела смерть, – начала объяснять я и споткнулась. До меня вдруг дошло, что сказала Ульянка. – Твоей смертью? Тебя хотели отравить?

Неизвестный злоумышленник хотел смерти Ульяны? Я высказала такую версию в раздражении, из-за того что она сразу же обвинила меня. А она отнеслась к этому так серьезно?!

И в этот момент, когда я безмерно удивилась, а солнце опустилось очень низко, и его лучи подчеркнули в каждом колере красные тона, когда свет на улице ненадолго стал совсем фантастическим, а стволы сосен – медными, послышалось знакомое тарахтенье мотора: к нашим воротам направлялся трактор «Беларусь», а за ним меланхолично, но резвой трусцой бежала лошадка, запряженная в телегу.

Это ехали к нам Толик и Валик. Еще два человека из нашего детства. С ними связаны не общие, а разные воспоминания сестер-близняшек: зеленый шелковый мох, туман, песок, налипающий на холодную кожу, худоба, из-за которой можно пересчитать ребра… Мой Толик – моя часть воспоминаний.

И бранился непотребно, ибо бысть упоен владою…

Мой Толик.

До свадьбы дело не дошло. После школы мы с Ульянкой поперлись в университет, а Толика забрали в армию. И на втором курсе я уже не считала, что Толик – моя судьба. А на третьем появился Антон. Не могу сказать, что я никогда не задумывалась, как могла бы повернуться моя жизнь, не отклони я когда-то приглашение в Прилуцкий клуб на танцы… Но, как бы там ни было, я его отклонила.

Теперь Толик работает трактористом. Более того, он тракторист по сути. Тракторист! Он все забыл. Алконавт ужасный. В этом году, как я слышала, отправил сына учиться в экономический университет в Минске, причем на платное отделение. Лицо у него обветренное и загорелое до красно-бурого цвета, а морщины резкие и глубокие. Он огромный, но постепенно «стаптывается» и становится уже в плечах. Гандзя, его жена, активно пытается сделать из него истинного хозяина: с теплицами, свинарниками и пальметтными яблонями.

Валика время изменило меньше. Он – бригадир, раньше в колхозе «Путь Ильича», сейчас – в ООО «Агровиталика Плюс». В нем больше осталось от того мальчика, с которым мы ходили в школу: круглое свежее лицо, улыбка… Только тогда он был проказник и сорвиголова, а теперь стал задумчивым и неторопливым. Разъезжая по околицам на своей телеге, он лежит на сене вальяжно, с форсом, точь-в-точь как когда-то его дед. А служебной «Нивой» пользоваться не любит: говорит, ему некуда спешить.

Как ни странно, я обрадовалась. Несмотря ни на что, обрадовалась, когда, заглушив мотор, хлопнул дверцей трактора Толик, а Валик, спрыгнув с телеги, привязал коня к столбику возле калитки.

Мы с Ульянкой спустились вниз, спряталось за Буг и солнце. Потухли, пропали красные отблески; ночь, пока что в синем, подбоченясь, смелее выступила вперед.

– Не смогли раньше, – еще от забора подал голос Толик. – Чарота сказал: «Как хотите, а не отпущу! Мне и самому надо было бы пойти попрощаться с Мокриной Лукашевной, но ведь погода ждать не будет. Вон, дождь на сегодня обещали по радио! Покойница и сама хозяйка была, дай бог, какая, она нам простит. Уберем сено – вместе на могилу сходим».

– И стояла ведь туча за Бугом, – добавил Валик, подходя. – Но, вишь, ветром пронесло. А надо бы дождя, ох, надо. Тем более, что сегодня мы последнее сено свезли… Так что вы не обижайтесь, что на похороны не пришли. Ну никак не получалось.

– Что вы извиняетесь, – махнула рукой Ульянка. – Хорошо, что сейчас догадались заехать. Пойдемте в дом. Вы руки помойте, а мы пока стол немного в порядок приведем…

Мы с сестрой убрали тарелки, стаканчики и вилки, поставили чистые приборы. Толик с Валиком оттащили два лишних стола, и мы расселись.

Днем мы с Ульянкой не садились за поминальный стол. Поднести-унести, убрать-подать – надо было обслужить людей, пришедших в последний раз к бабушке. В этом состояла наша задача на поминках, и она была нам давно, настойчиво и подробно ею же, бабушкой, растолкована. Но сейчас вечер, сейчас другое дело. Сейчас каждое блюдо можно сбросить с трех тарелок на одну: официальная часть закончилась.

Толик открыл бутылку и, на мгновение застыв над моей стопкой, вопросительно взглянул на Ульяну. Она кивнула, и он мне налил. Я на такие вещи уже не реагирую, привыкла – что тут будешь делать, алкоголичка, собой распоряжаться не может, сестра решает за нее, может она помянуть бабушку или нет…

Тишина. За окном темнеет. Голая лампочка. Каждый год на Пасху в этой же комнате мы накрывали стол. Бабушка никогда не сидела на почетном месте – всегда где-то с краю, примо-

стившись рядом с детьми, но перед первой всегда говорила она. Обычно в стихах – простые мысли, глагольные рифмы. А теперь тишина, и мы молчим, держа водку перед собой.

– Так что я хотел сказать? – Толик встал, чего я от него не ожидала. – Может, и не мне надо было первому, но что ж… Я вот что сказать хочу: первое, что я помню в своей жизни, – баба Мокринка. Ну вы же знаете: когда мне было четыре года, я на Плесе бил лед и провалился, а она меня вытащила. Помню: хватаюсь пальцами за ледяные глыбы, а они выскальзывают, и передо мною то черная вода, то белый снег, то синее небо, и вдруг меня хватает за воротник сильная рука, и я уже лежу на снегу, мне не хватает воздуха, а изо рта идет пар… Она ведь меня с Плеса всю дорогу на руках тащила, да бегом…

Валик вдруг засмеялся и тотчас смутился своего неуместного смеха:

– Ох, тебя она перла в четыре года, а меня в пятьдесят четыре…

– Как так?

– Да с месяц назад возвращался откуда-то через Добратичи, вижу баба Мокрина тащит мешок на спине, ковыляет, на палку опирается. Я с телеги слез, говорю: «Дайте помогу!» А она очки поправила, присмотрелась, узнала и говорит: «А, Валичок! Спасибочки тебе, только мне еще по силам и тебя понести, не то что мешок! – «Ой ли?» – «А погляди!» – И что бы вы думали: я, вроде как в шутку, подошел, а она, вроде как в шутку, мешок свалила на землю и меня подхватила и понесла, я и оглянуться не успел! Правда, я сразу спрыгнул с ее спины, но от земли она меня оторвала… Так помянем.

– А помнишь, как она этого толстого отшила? – продолжал Валик, когда мы выпили.

– Она вставала раньше всех в Добратичах.

– Мой отец рассказывал, что она единственная из женщин могла управляться на жатке.

– А как она подралась с агрономом?

– А как повесила бешеного кота?

– И топила котят, и гоняла собак, и била детей, которые в сад лазили …

– Кто понимает бабушку, тот понимает все, – сказала Ульянка.

– Какие необычные слова, – заметил Валик.

– Это не мои, – отозвалась Ульянка. – Так помянем.

– А твой, говорили, на выборы двинул? Метит, значит, на самый верх? – повернулся ко мне Толик. – Рисковый парень. Дык ты, видать, счас в Минск поедешь, помогать?

Уехать в Минск? Такая мысль мне в голову не приходила. Антон меня не зовет, а самой напрашиваться… Нет, не поеду. Тут остается бабушкин дом, бабушкин сад, ее хозяйство… Я их не брошу. Чувствую, что мой долг – остаться здесь и позаботиться о них, чувствую, что должна разобраться с тайной бабулиной смерти – здесь в Добратичах, где все и произошло.

Я посмотрела на сестру и увидела, что она меня понимает.

После второй сестра коротко рассказала хлопцам, что бабушка умерла из-за того, что кто-то по неизвестным причинам подсыпал в кофе кардиостим-форте.

– Неясно, зачем конкретно и для кого, – пояснила сестра. – В такой дозе это смертельный яд и для меня, и для Алки – для любого, у кого сердце слабое. Однако удар пришелся по бабушке.

Насквозь пропитанный водкой Толик, да после второй, не очень-то поверил:

– Ого! Так это ж детектив! «Убийство в Добратичах», в двух сериях.

Никто не поддержал неудачной шутки.

– В милицию надо сообщить, – серьезно предложил Валик.

Мы с Ульянкой переглянулись. В милицию? Зачем? Что может сделать милиция? Если и заведут дело по попытке убийства, то будут вяло отрабатывать зарплату, а через некоторое время закроют за недостаточностью улик… Кому помогла милиция? Есть ли вообще такие люди, кроме как в тех самых детективах, которые каждый вечер крутят по российским каналам? Нет, милиция нам не помощник… Надо думать самим.

– Нет, милицию мы нагружать не будем, – покачала головой Ульянка. – Там других дел хватает.

– Правильно! Зачем нам менты? Сами разберемся! – в Толике, кажется, бушевал хлипкий энтузиазм алкоголика, и Валик противопоставил ему здоровый скептицизм бригадира:

– Каким образом? Как ты собираешься это делать?

– Надо думать! Надо искать, кому выгодна смерть!

– Чья? Бабы Мокринки?

– И ее, и твоя, и твоя, – Толик подбородком показал на меня и на Улю, которая в это время отошла от стола и села на диван. – Надо написать список тех, кому вы можете мешать в чем-либо.

– А может, это уже… – начал было Валик и замолк. – А какой это был кофе?

– Да обычный совершенно, – отозвалась я. – Якобс, Крёнунг. Я его часто покупаю. Пачка початая, я уже недели две ею пользовалась.

– А когда в последний раз? – поинтересовался Валик.

– Не помню! Уже думала, пыталась сообразить – не помню. Начисто выветрилось из головы из-за всех этих перипетий. Я ведь часто кофе пью. Может, в тот день утром? Или накануне днем? Помню, на прошлой неделе ко мне приходил Мишик, его угощала, но после этого наверняка еще пила сама…

– Надо искать мотив, – стоял на своем Толик.

– Ага, а потом окажется, что убийца – как раз тот единственный, у кого мотива в принципе и не было, – заметил Валик.

– Но надо же с чего-то начать! – уверенно сказал Толик.

– Как бы там ни было, надо идти в милицию. А если категорически не хотите, то хотя бы выбросьте продукты, которые были в доме до смерти бабы Мокрины, купите новые. Мы-то хоть, надеюсь, за этим столом не отравимся? – спросил Валик.

– Послушайте, – каким-то странным голосом вдруг перебила спор Ульянка. – Послушайте, Алка, ты знаешь, что у тебя здесь?

Слушая парней, Ульянка машинально взяла одну из кипы сваленных на столике возле дивана папок и стала рассеянно листать. Сейчас, держа раскрытую папку на коленях, она смотрела на меня с каким-то диковинным выражением лица.

– Так ты знаешь, что у тебя здесь?

– А то нет! Это документы из архива, я собиралась с ними работать, – ответила я.

– А ты их хоть просматривала?

– Некогда было. А что?

– Вот слушайте. – И Ульянка медленно, чтобы мы лучше поняли, стала читать, непривычные слова по-особенному звучали в тишине вечера. – «Протэстацыя месцича львовского пана Христофа Сторымовича, цехмистра злотников, на пана Бартоша Костомлоцкого об нападе, обранене и уближене. Одбывалося в городе Берестью Великого княства Литовского дня 28 месяца Липца году господнего 1650. Перед нами, бурмистрами, райцами и лавниками, того дню на справах судовых в ратушу берестейском будучыми, изусно оповедал и скардзил мешчанин места его королевской милости Львовского цехмистр злотников Христоф Сторымович пан Трызна на земянина воеводства Берестейского его милость пана Бартоша Костомлоцкого, господаря Костомлот и земель прилеглых, о том, што ж деи сего року месяца Липца 26 дня пан Христоф Сторымович, яко чоловек спокойный и никому ни в чом невинный и покоем права посполитого обварований жадной прыкрости и обельги, по своим справам был на реце Бугу, правым берегом шол, шукаючы певны пакунек, схованый там его отцом, паном Сторымой Трызной, гды пан Бартош Костомлоцкий нагле вкупе зе свыми холопами напал, и крваве пана Христофа и бывших с ним людзи обранил и зранил, и прыгрозил забити, и крычал, же не

дозволит прывлащать скарб, ктуры ведлуг праву посполитому належіт пану Бартошу Костомлоцкому, поневаж в ему належней земли ест схованы.

На то пан Христоф одпорал, же шукает не скарб, тылько певный пакунек небощыка свого отца, и показал таку цедулу, також тестамент пана свого отца, ктуры отец тему 2 лета назад вертался з Берестья до места Львовскего водой Бугом и коло млыну Костомлоцкага нападлы окрутныя апостаты гвалтовники, и имали все майно и забияли люди, аже вратунку не было, ино пред смертью пан Сторыма Трызна поспел заховати лар з клейнотами, ктуры мел з собой, в певнем месцы, и написал цедулу, ктуру цедулу слуга верный до Львува доставил и пану Христофу передал.

Пан Бартош шаблею грозил и бранился непотребно, ибо бысть упоен владою, а холопы киями и ланцухами прымусили пана Христофа цедулу отдати, а в той цедуле показано, где належит шукати лар з клейнотами. То пан Христоф Сторымович Трызна досведчал, же ест наступца свого отца и просит панув бурмистров, радцев и лавников рачити прымусити пана Костомлоцкого повернуть цедулу и штраф помененому Костомлоцкому присудити, а маючы в том великий жаль и крывду немалую, і хотячы з тым паном Костомлоцким у суду належного правне поступовати, просил, иж бы тое оповеданье и жалоба была до книг меских берестейских записана. Што ест записано.»[17]

Я перевела дыхание и взглянула на парней. Валик мечтательно улыбался, у Толика блестели глаза, а улыбка стала более определенной и широкой. Исчезли без следа эти пятьдесят лет, испарились и колхоз, и ООО «Агровиталика Плюс», и тоска, и заботы, не было ни обсиженных дачниками холмов, ни зеленых жаб в телевизоре, ни Тарасенко[18] – здесь сидели дети Добратичей, и жизнь была впереди, и земля в этот вечер стала прозрачной, как стекло, открыв клады – и не только сокровища львовского ювелира… Ульянка глядела на нас насмешливо, но видно было, что и она, историк, которому не в новинку держать в руках древние бумаги, поражена.

– Ну как, все поняли? – спросила она.

– Вот это да! – Толик шумно выдохнул. – Чего же тут не понять: какой-то ювелир плыл Бугом, на него напали бандиты…

– Рэкетиры, – живо уточнил Валик. – Казаки-разбойники.

---

[17] Протестация жителя Львовского пана Христофа Сторымовича, цехмистра ювелиров, на пана Бартоша Костомлоцкого о нападении, ранении и оскорблении. Происходило в городе Берестье Великого княжества Литовского дня 28 месяца июля года господнего 1650. Перед нами, бурмистрами, советниками и заседателями, этого дня по судебным делам в ратуше берестейской находящимися, устно рассказывал и жаловался житель города его Королевской милости Львовского цехмистр ювелиров Христоф Сторымович пан Тризна на жителя воеводства Берестейского его милость пана Бартоша Костомлоцкого, владетеля села Костомлоты и земель прилегающих, о том, что 26 июля этого года пан Христоф Сторымович, как человек спокойный, никому ни в чем не обязанный и покровительством закона государственного предохраняемый от различных неприятностей и клевет, находился на реке Буг по своим делам, шел правым берегом, разыскивая некий сверток, спрятанный там его отцом, паном Сторымой Тризной, как вдруг пан Бартош Костомлоцкий вместе со своими холопами напал и кроваво пана Христофа и бывших с ним людей изранил и избил, и пригрозил убить, и кричал, что не дозволит присвоить клад, который по закону государственному принадлежит пану Бартошу Костомлоцкому, поскольку находится в его земле. На это пан Христоф ответил, что ищет не клад, а вещь, принадлежавшую его покойному отцу, и показал такую записку, а также завещание своего отца. Упомянутый отец 2 года назад возвращался из Берестья во Львов водой, Бугом, и около Костомлоцкой мельницы напали коварные супостаты разбойники, отобрали имущество и убили людей, и спасения не было, но перед смертью пан Сторыма успел спрятать ларь с драгоценностями, который имел при себе, в определенном месте, и написал записку, каковую записку верный слуга во Львов доставил и пану Христофу передал. Пан Бартош саблею грозил и бранился непристойно, ибо был упоен своею властью, а холопы киями и цепями заставили пана Христофа отдать записку, а в той записке сказано, где следует искать ларь с драгоценностями. И вот пан Христоф Сторымович Тризна засвидетельствовал, что он – наследник своего отца, и просит панов бурмистров, советников и заседателей изволить заставить пана Костомлоцкого вернуть записку и штраф упомянутому Костомлоцкому присудить и, имея большое недовольство и обиду немалую и желая с тем паном Костомлоцким в суде соответсвенно закону поступить, просил, чтобы его рассказ и жалоба были в книги городские берестейские записаны. Что и записано (староукр.).

[18] Придуманное автором лицо.

– Ага, рэкетиры, а он перед смертью ухитрился спрятать ларец с сокровищами да еще и передать писульку сыну… Записку, где тот ларец искать… А дальше что было? Отдал тот пан Костомлоцкий записку? А с кладом что? – поинтересовался Толик.

– Здесь больше ничего, кажется, нет, – ответила Уля. – Дальше идут другие акты.

– И все это было вот здесь, поблизости! Ведь Костомолоты – вот они, сразу за Бугом. Даже не верится.

– А что ж ты думал? Что здесь люди не жили? Не ели, не пили, денег не зарабатывали, авантюр не устраивали?

– Интересная у тебя работа, Алка! Это тебе не на тракторе навоз вывозить!

– Да какая она моя! Если бы Ульянка не стала просматривать папки, я бы их так назад нечитанными и отдала.

Я совсем, надо признаться, забыла об этих документах из минского архива.

Перед тем, как выехать из Минска, обуреваемая мыслями о самостоятельной жизни, я пыталась найти работу, лучше бы по специальности – торговать на Комаровском рынке подсолнечным маслом мне как-то не хотелось, – и обращалась ради этого ко всем знакомым. Ольга Бабкова[19], задумавшись на минутку, сказала этим своим голосом, в котором, за закрытыми ставнями, наверняка проживает Ольгина душа:

– Знаешь что, кажется, у нас в архиве есть возможность поработать вне штата – разбирать старые акты. Это, конечно, копейки, но, с другой стороны, и неплохо – будешь сидеть в своих Добратичах и вместе с тем работать, читать и набирать на компьютере старые документы.

Такой вариант вызвал у меня прилив энтузиазма. Он показался мне идеальным способом постепенно вернуться в профессию. (Хотя если подумать, это бред сивой кобылы в чистом виде: в возрасте, когда другие готовятся к пенсии, я собиралась начать трудовую деятельность по специальности! Но на то были веские причины: я искала работу, потому что мне надо было почувствовать себя независимой. Независимой мне нужно было почувствовать себя потому, что мой муж Антось нашел мне молодую замену, и мне об этом донесла анонимка по телефону. А изменил мне муж потому, что больше не мог выносить моей никчемности и хотел нормальной жизни…)

В архиве меня нагрузили кучей ксерокопий старых нечытэльных, говоря по-польски, актов. Я листала обстоятельно сшитые в папки ксерокопии, и мой энтузиазм таял. Я абсолютно ничего не могла разобрать! Вереницы и вереницы букв, каллиграфических и не очень, кириллица и латинка… Все-таки уж больно давно я учила палеографию в университете и с тех пор не практиковалась. А в Добратичах на меня навалилась куча хлопот и обязанностей, потому папки так и лежали нераскрытыми до того момента, как к столу подошла Ульянка.

Сама не ожидая от себя, я выпалила:

– Слушайте, а если ларец этот так где-то и лежит? А что, если его поискать? Ульянка, сколько сейчас могут стоить драгоценности работы семнадцатого столетия?

Ульянка пожала плечами.

– Зависит от того, из чего и как они сделаны. Если, к примеру, серебряные, то… ну, не знаю, может, примерно по несколько десятков-сотен долларов каждый… А если золотые, хорошей, качественной работы, с алмазами и бриллиантами, то могут и очень дорого стоить… Если имеют историческую и художественную ценность – то вообще неизвестно сколько, даже до миллионов… Судя по тому, что этот пан Трызна их искал с риском для жизни, они были достаточно дорогими для своего времени, не бижутерия… Но выбросьте это из головы, – решительно отрубила сестра, заметив, что парни, как и я, внимательно ее слушают. – Искать клад – это несерьезно.

– Почему несерьезно? – вскинулась я. – Потому что это я предложила?

[19] Придуманное автором лицо.

– Несколько сотен долларов каждый… – задумчиво повторил Толик, почесав красивую бровь. – А действительно, почему несерьезно?

– Знаете, дорогие мои, вообще-то кладов как таковых в земле много, это дело известное. Как сказал Валик, люди здесь жили и деньги зарабатывали… А поскольку для прошлых времен закопать деньги в землю было так же естественно, как нам сегодня открыть счет в банке, и поскольку на каждого живого приходится множество уже умерших, то понятно, что и кладов должно приходиться немало, однако… Клады находят либо случайно, либо в результате старательного сбора и анализа информации. В данном случае информации явно маловато. Ну что мы знаем: ювелир спрятал свой ларец где-то на Буге, возможно, в окрестностях Костомолот, но эти окрестности могут быть достаточно протяженными, причем по обоим берегам реки, а берега эти нам недоступны… Костомолоты ведь на польской стороне… Все это слишком неопределенно. И потом, вы же видите, ларец уже искали: и сын ювелира, и этот Костомлоцкий наверняка, раз цидулку забрал… Да и до кладов ли нам? Мне так наверняка будет не до того, – Ульянка встала и снова подошла к столу. – Давайте лучше выпьем. Кажется, на поминках принято пить трижды, а мы ведь на поминках.

Первое знакомство с Куколем Иваном Митричем

Следующим утром больше всего мне хотелось выспаться. Поспать. Вот вытянуться и спать, спать, спать. Дать расслабиться натянутым нервам. Дать покой телу. Однако гвардия во дворе потребовала своего уже на рассвете; я со стоном оторвала тело от матраса. Куры вылетали из курятника, как ненормальные; гуси бешено гоготали; утки презрительно крякали; кролики возмущались молча, выразительно шмыгая носами. А когда я, еще в полусне, открыла хлев, свинья подняла такой пронзительный визг, что я была готова прямо на месте убить ее собственными руками. Убить… Это слово воткнуло меня в реальность, как в розетку. В доме произошло убийство, непонятное, однако явное.

Бабушки больше нет.

– Все усыпано яблоками, – Ульянка притащила две огромные корзины белого налива и вывалила в углу веранды. – Четыре дня не собирали, земля белая.

Я принялась нарезать бураки, засыпала в чан крупу, добавила туда мелкую картошку и поставила варево на газ.

– Чего это ты так рано вскочила? Я так, если бы могла, не вставала бы вовсе. И надо было живность выпустить, раз уж встала.

– Не думала, что застряну в огороде, – ответила Уля. – Может, кофе?

– Давай. Все равно спать уже не лягу.

– А потом надо яблоками заняться. Не пропадать же им. Тем более на чердаке сейчас такая жара, что в момент высохнут. Давай-ка я займусь завтраком, а ты, может, пойди умойся, а то смотреть страшно. Залезь потом, достань с чердака старые покрывала, на которых бабушка сушила яблоки, – крикнула она мне вслед, когда я уже шла к рукомойнику.

Рукомойник, к которому прикасались бабушкины руки. Ее лавка. Корни деревьев на тропинках, по которым она ходила. «Заростуть мои чорны стэжки»[20], – говорила она. Неужели так и не будет дано мне уразуметь, зачем мы топчем свои черные тропинки?

Запахло кофе – Ульяна сварила. Новую пачку привезла из Бреста Зарницкая.

А на чердаке пахло стариной. Паутина и пыль. По углам громоздились *лахи*[21] – те, которые бабушка не сочла нужным сжигать. Тут были фундаментальные *кросна*[22], несколько старых пальто, тоненькая *каета*[23], с которой ходили в школу, должно быть, еще в 20-е годы… Я перебирала старые вещи и невольно продолжала думать о бабушке. Она была человеком ярким, неординарным, очень одаренным… У таких людей всегда находятся враги… Ну и что, что ей было почти сто, что жила она, не выезжая из Добратичей… Здесь тоже кипят страсти… Нет, видит Бог, это даже более реально, чем допустить, что отрава в кофе предназначалась мне. Господи, я-то кому могу быть нужна?! Или, точнее, кому до такой степени мешаю? Смешно! Конечно, я бестолковая, но что никому не перешла дорожки – это точно. Еще более глупо допустить, что кто-то желает смерти сестре. Вот у кого не может быть не то что врагов, но даже недоброжелателей… Ее любят все. Сей человек, человек со стержнем, человек-плечо, на которое всегда можно опереться, и это знает каждый, кто с ней знаком. Человек-камертон, по которому проверяют точность звучания нот.

Размышляя так и рассматривая старые вещи, я наткнулась на запыленную бутыль гамзу… В ту пору, когда найти бутылку, равно как обертку от конфет или осколок фарфорового изолятора, или кусочек ткани, было роскошью и удачей, мы всегда брали ее в поле:

[20] Зарастут мои черные тропинки (местный говор).

[21] Тряпки, одежда (местный говор).

[22] Ткацкий станок (местный говор).

[23] Портфель (местный говор).

ее удобно носить – бутыль оплетена проволокой, и из проволоки же сделана ручка-петля. Сохранилась даже пробка – какая-то туго свернутая бумажка. Я вынула ее. Под пальцами развернулся пожелтевший тетрадный листок, на котором в полумраке виднелся рисунок. Я поднесла бумагу к окошку. Это мой детский рисунок? Ульянин? Нет. Так рисовали в средние века: хорошо прорисованы детали, но линии немного косые; множество точных подробностей, но пропорции нарушены; рисовал наверняка взрослый человек, вероятно, даже способный, но никогда не обучавшийся рисованию, который и карандаш-то редко в руках держал… На листке молодой человек, коренастый, с носом, в кепке. Прорисован воротник рубахи, пуговицы, набойки на каблуках ботинок. Руки толстые, сильные. Очень похожий человек и на обратной стороне. Я присмотрелась: почти выцветшая подпись, несколько раз повторено имя: Stepan.

А ниже польскими буквами, но украинскими словами:

Sonce nyzeńko
Pryhodź, serdeńko
Tody pryjdesz
Jak Lalku prożenesz[24].

Писала наша баба, догадалась я. Баба, закончившая польскую школу, и писать должна была по-польски. Хотя и родными, украинскими словами. А нарисованный, значит, тот самый Стэпан. Калёниха, наше добратинское информационное агентство и по совместительству архив, рассказала когда-то нам с сестрой историю любви и предательства, героями которой были наша тогда еще молоденькая незамужняя баба, такая же молоденькая Лялька и вот этот красавчик Степан. По словам Калёнихи, Степан и наша баба любили друг друга и хотели *побратыся*[25], но потом Лялька отбила Степана – просто ради интереса, он был у нее *осэмнаццатый*[26]. Вскоре Лялька его бросила, и он попробовал вернуться к своей Мокринке, но она его не приняла, вышла замуж за нашего деда Василя, однако Ляльку так и не простила. Действительно, сколько помню, они всегда ругались и ссорились, наша баба и баба Лялька… Баба Лялька сейчас безногая, в отличие от нашей бабы, она и в старости сохранила миловидность: у нее мягкие карие глаза и морщины, которые Гоголь назвал бы гармоничными. Но за миловидностью и мягкостью кроется характер не менее сильный, чем у нашей ведьмы.

– Ну и что ты ей скажешь? – пожала плечами Ульянка, когда я показала ей найденную на чердаке бумажку и предложила сходить к бабе Ляльке. – Не вы ли, бабуля Лялька, отравили нашу бабу за то, что восемьдесят лет назад не поделили кавалера? Нет, ерунда, песня про Грыця какая-то…

– Грыця, не Грыця, но ведь надо, как говорит Толик, с чего-то начать! Может, отыщем какую-нибудь зацепку, хоть какую-нибудь! Или так и будем здесь сидеть и ждать в бездействии? Я хочу знать, кто это сделал и зачем! И потом, ты не боишься, что еще где-нибудь вдруг обнаружится яд (только, чего доброго, слишком поздно), а то еще какая беда случится?

Ульяна вздохнула.

– Ну ладно, сходим. Только давай сначала с яблоками разберемся. Но она даже не может ходить, баба Лялька! Нет, это ахинея, дурацкая мысль!

Разбирательство с яблоками затянулось – имя им было легион, а Уле непременно нужно было переработать все. Потом снова понадобилось кормить живность, приводить в порядок хлев – свинья нарыла там целые горы… Словом, к бабе Ляльке выбрались лишь под вечер.

---

[24] Сонце низенько,Приходи, сердце мое.Тогда придешь,Когда Ляльку прогонишь (местный говор).

[25] Пожениться (местный говор).

[26] Восемнадцатый (местный говор).

Дом Ляльки недалеко от нашего, с другой стороны холма. Чтобы пройти к ней, надо миновать имение, приобретенное недавно у потомков старого Дениса неким венерологом из города. Теперь здесь дым коромыслом: старый дом обложили кирпичом, надстроили второй этаж, пристроили обязательную баню; во дворе красуется бассейн, из которого бьет фонтан. Здесь бегают дети, пахнет шашлыками, стол ломится от еды и бутылок, а ветер треплет над ним яркий тент. Мы прошли вдоль забора из рабицы. Женщины с гладкими ляжками загорали в шезлонгах, а мужчины, знающие, зачем живут, пили пиво. На кирпичной стене висел горшок с малиновой сурфинией – последний писк моды.

Лялькин дом стоит как раз напротив этого оазиса правильной жизни. Кирпичи на печной трубе осыпались: как они, Ляльки, топят печку? Во дворе валяется сухая ужиная шкурка; черное деревянное колесо прорастает полынью возле колодца. Старая Лялька и ее дочь, тоже Лялька, обедали: обе сидели на завалинке, а на блюдце между ними – кружочки сдобренного подсолнечным маслом лука, еще был хлеб. Яства, которые мы прихватили с собой и которые стали официальным поводом для нашего визита, – принесли, мол, бабе, которая из-за безногости сама не смогла прийти, с поминок кутьи, а вместе с кутьей еще и кой-каких деликатесов, – были здесь явно кстати.

Баба Лялька встретила нас радушно и учтиво; она всех и всегда так встречает. Она поклонилась нам со своей завалинки, поблагодарила, усадила подле себя и стала расспрашивать, но вскоре я заметила, что нам лучше уйти: они обе, и Лялька старая, и Лялька молодая, были, попросту говоря, очень голодны. Голод сопровождал их всегда, как истинных добратинцев, и голод был силен. Однако добратинский кодекс хороших манер не позволяет показывать свой голод, не позволяет есть в присутствии чужих.

Лялька старая владела собой лучше, а вот Лялька молодая с простодушием сумасшедшей не сводила глаз с тарелок с котлетками и студнем. Она, действительно, сумасшедшая. Наша с Улей ровесница; зимой и летом бродит она по нашему лесу от сосны к сосне. В шерстяном или штапельном платке, с засохшими пятнами крови на сорочке, выглядывающей из-под юбки. Лицо то густо намазано свеклой, то обсыпано ярко-розовой старой-престарой пудрой из довоенных запасов бабы Ляльки. Она все время сосредоточенно о чем-то думает, но произносит, о чем бы ее не спросили, всегда только две фразы: «В прошлое воскресенье мы были в церкви. И в позапрошлое тоже». Нет, кое-что она понимает, помогает матери по хозяйству: копает и полет огород, кормит кур… Но ей надо говорить. Сама бы она и ведра воды не догадалась достать. Других детей, кроме этой *нэбоги*[27], у бабы Ляльки уже нет.

Ульянка втихаря пихнула меня локтем в пузо, и я уже собралась вставать и прощаться, как вдруг мизансцена изменилась.

Черная дорогущая машина – это был мерседес, – блистая лаком и многочисленными фарами, подкатила почти бесшумно и остановилась. Открылась задняя дверца, и на пыльную, выжженную безжалостным солнцем траву Лялькиного подворья ступила безукоризненная, идеально чистая лакированная туфля, сверкнула шелковая штанина – вышел мужчина.

Сколько всего мне предстояло пережить из-за него! Господь Бог наверняка поместит нас с ним где-то рядом – после смерти, я имею в виду. Важнейшую роль сыграл в моей жизни этот человек.

Красив он был, что и говорить. Очень красив. Строгие мужские черты, смуглая, как бы опаленная горячим ветром кожа. Лицо очень плавно переходит в шею, а сильное тело выглядит немного грузноватым из-за полноты. Впрочем, полнота не чрезмерная, видно, что ее держат в запланированных рамках.

– Добрый день, – спокойно поздоровался полный человек со смугловатым лицом.

– Добрый, – несколько настороженно ответила Ульянка.

[27] Несчастной (местный говор).

– Меня-а за-авут Иван Митрич, – незнакомец одни гласные глотал, а другие немного растягивал. – А вы, надо думать, Ульяна и Алла? У меня к вам дело. Удачно, что вы тут… Я заезжал сейчас к вам, – он повел рукою в сторону нашего дома. – Ну что, бабшка, на-адумлась? – обратился он к Ляльке.

– А мий ты сынку! То ж я ниц нэ знаю! Я ж стара, я вжэ тут помыраты буду,[28] – она плаксиво скривилась.

– Баашка, я же тебе все объяснял! От ведь старуха, толкую-толкую ей, да толку чуть, – Иван Митрич повернулся к нам. – Тяжко со стариками. Хочешь им добра, стараешься, как лучше, а они ерепенятся, ей-богу! Вот люди, – он кивнул на обитателей соседнего двора, которые все как один, повернувшись, пристально смотрели в нашу сторону, – нормальные, вменяемые, с ними мы сразу договорились.

Венеролог, все это время следивший за нами со своего двора, видно, принял жест Ивана Митрича как приглашение подойти и заспешил к нам.

– Дело вот в чем: я покупаю всю эту землю, – голос Митрича зазвучал по-деловому, и он широко повел рукою. – С холмом, криницами, дубравой. Плачу хорошую цену. Иди, я сейчас приду, – отослал он назад венеролога, и тот послушно повернул. – Я построю здесь дом отдыха. Какая будет цена за ваш участок с домом?

– Не будет даже разговора ни о какой цене. Наш дом не продается, – удивленно ответила Ульянка.

– А ты что скажешь? – спросил он меня.

– Попрошу обращаться ко мне на «вы».

– Я заплачу очень хорошо, можешь спросить вот у них, – и он снова показал на дом с сурфинией на стене. – Сто тысяч. Ну, договорились?

Лялька-молодая не выдержала, достала из тарелки котлету и принялась есть; она закрыла глаза и стала напоминать растение, которую поливают в засуху.

– Ты в уме? – спросила Ульяна, обращаясь к Митричу.

– Я деловой человек. Мне нужна эта земля. Сто десять. Подумай, какие деньги, – он оценивающе окинул взглядом Ульяну, – ты столько за всю жизнь не получишь. Представляешь, что за них купить можно? Это же богатство, наследство для детей.

Куколь говорил спокойно, вежливо, хоть и на «ты», однако Ульянка, я видела, стала закипать.

– Мои дети – не твоя забота. Дом не продается, я же сказала.

– Послушай, ну эта старуха выжила из ума, но ты же соображаешь? Считать умеешь, ведь высшее образование у тебя, правда? Чего упрямиться? Купишь себе намного лучший дом в другом месте.

– Сам купи себе дом в другом месте.

Иван приподнял бровь. Из машины тут же материализовались двое крепких молодых людей в черном, с бритыми начисто головами, как в плохом фильме, ей-богу. Но голос Куколя пока оставался ровным. Движением уставшего человека он вытер лоб.

– Подумайте. Ну, останетесь вы здесь… Какая вам польза будет сидеть под забором дома отдыха? Отдыхающие, то да се, шум, гам… Подумайте, это же просто шикарное предложение. Здесь будет большой комплекс. Вот там, – он махнул рукой, – главный корпус, здесь – бар, а вон там оборудуем криницу как следует, расчистим, купол надстроим, лавочки поставим… Это будет райское место. Я уже приобрел стройматериалы. Здесь хорошие грунты, легко будет оборудовать водопровод, канализацию.

Не зная, что сказать, я молча слушала речь Митрича.

---

[28] Сыночек мой! Я ведь ничего не знаю! Ой, я лучше тут помирать буду! (местный говор).

Немного дальше за холмом – дом отца Толика. Старый Евык давно умер, Толик жил в Страдичах, но держал здесь огород и часто наведывался. Вероятно, услышав разговор, он выглянул из хлева, где возился, и поспешил к нам, как был, с вилами в руках.

– Что же, давайте так договоримся, – подвел черту Куколь. – Я дам вам на раздумья день-другой, но не тяните, мне время дорого. Не забывайте, деньги – они всеобщий эквивалент, а с домом всякое может быть… Он стареет, рассыпается, сгореть может, мало ли что…

Он неспешно повернулся и, так и не подойдя к венерологам, больше не взглянув ни на нас, ни в их сторону, сел в машину, и мерседес укатил.

– Толстый снова насчет покупки дома приезжал? – поинтересовался Толик, подходя.

– Ты его знаешь? – спросила я.

– Видел. Видел, как он приезжал к вашей бабе, и она его отшила – помнишь, я говорил на поминках? Видел, как приезжал к бабе Ляльке – доброго здоровья, бабо! – слышал, как она прикидывалась дурочкой…

– Что за он?

– Дык бизнесмен. Крутой, – продолжал Толик. – У него магазины в Бресте, рестораны, места на рынке… Но говорят, что основной доход ему приносят наркотики и проституция. Он здесь у нас личность известная. Ну и чего-то ему стрельнуло прикупить тут землю.

– И к тебе приходил?

– Нет, наш участок ему не нужен. Вот здесь, на холме, возле криниц он хочет строиться. Говорят, какой-то дом отдыха, но на самом деле – ребята на работе говорили – бордель.

– Что-о-о? – возмутилась я.

– Бордель. Блядюшник.

Нет слов, молчание.

– А что же милиция, власти? – спросила я неуверенно.

Толик только пожал плечами.

Лялька молодая выудила из миски кусочек окорока и с наслаждением откусила.

– Знаешь, – сказала Ульянка, когда мы возвращались домой. – А вот у этого Ивана был мотив желать бабушкиной смерти. Могу себе представить их разговор с бабушкой. И, кажется, он из тех, кого сомнения и совесть не мучают.

– А сегодня у него, как я понимаю, появился мотив желать и нашей смерти. И это взаимно.

Взаимно? Я кривила душой, правду некуда деть. Я кривила душой перед моей проницательной сестрой, желая скрыть истину: Иван Дмитрич мне понравился, и даже очень.

На лице Ивана запечатлены тайные символы. Есть лица пустые. Есть лица, полные тяжелого семени. А есть лица, на которых тайные символы. Эти – самые привлекательные. Вот такое лицо у Ивана. Лицо, осанка, непустые глаза – я всегда составляла свое мнение о людях с первого взгляда. Мало кто с первого взгляда понравился мне так, как Иван. Конечно, мы не продадим ему дом, но зачем Ульяна говорила с ним так резко?

«В человека с таким лицом можно влюбиться, более того, его можно любить», – думала я, замужняя и верная жена, молча дефилируя долиной рядом с сестрой. Не верю в то, что про него болтал Толик. Просто ему завидуют.

Когда мы пришли домой, забытый Ульянин мобильник, надрываясь, аж прыгал по кухне, а к забору подруливал Ленкин автобусик.

Ульянка, поговорив по телефону, вернулась к нам задумчивая, объяснила:

– Мне нужно завтра на денек в Минск, срочно вызывают.

– Ну так что ты киснешь? – спросила я. – Съезди, раз нужно.

– Не очень хочется здесь вас оставлять.

– А что, есть какие-то новости? – поинтересовалась Ленка. – Как у вас здесь вообще обстоят дела?

– Да без особых перемен, – пожала я плечами, – можно сказать.

– Ох, надо поговорить, – Ленка взглянула на часики, – у меня есть десять минут. Прежде всего, Алка, ты больше неопознанных летающих объектов не видела? Ну там смерти или еще какой женщины в белом?

– Иди ты к черту! Можете считать меня ненормальной, но, пожалуйста, не в глаза! Это не глюки! Я не была тогда пьяной, я потом выпила. И я, действительно, видела какую-то мумию за границей. И хватит уже, Ульяна, выставлять меня на посмешище и делать из меня дуру.

– Чего ты разошлась? Я передала Ленке то, что ты рассказывала, она спросила у тебя… Кто здесь делает из тебя дуру? Но к нам уже явился визитер похуже женщины в белом, – сестра повернулась к Зарницкой. – Этот уже и мне в глаза бросился.

– Буквально? – подняла брови Зарницкая.

– Пока нет, – и Ульянка рассказала про разговор с Иванам Миитричем.

– Значит, это правда, – помрачнела Ленка. – Мне говорили, что Куколь хочет строить где-то центр отдыха, я даже видела проект… Честно говоря, даже слышала, что в Добратичах, но надеялась, что нас минет чаша сия…

– Так ты его знаешь? И у него собак лечишь?

– У него животных нет, но жить в Бресте и не знать Куколя невозможно, – ответила Ленка.

– Расскажи.

– Да особо и нечего рассказывать. Я с ним, Куколем, мало сталкивалась. Ну, богатый. Основал премию «Брестчанин года». Коттедж у него в Вычулках, кажется. Слухи про него ходят разные. Однажды в одной компании, в гостях, слышала, как один такой Куля доказывал, сидя в бане, что Куколь – главный здешний бандит, причем бандит, как говорится, вне закона.

– А Куля – это кто? – поинтересовалась Ульяна.

– Кулеев его фамилия. Тоже цаца еще та, – уточнила Ленка. – Он, видишь ли, тоже бандит, но в законе, развил там в бане целую теорию о том, что во все времена, значит, начиная от княжеских тиунов, существовали люди, более-менее приближенные к государству, помогающие ему регулировать финансовые отношения между людьми… И он, дескать, занимается этим, потому что это необходимо обществу.

– Так он, как это … крыша?

– Именно.

– И тебя крышует? – спросила я у Ленки.

– Нет, я ему не по зубам, но не об этом сейчас речь. Так вот, Куля вещал, что, дескать, Куколь совсем распоясался, срывает договоры, не держит слово… Что он подмял под себя – путем жестокого насилия и даже убийства – и рэкетиров на границе, и путан на минском шоссе, и наркоту во всей округе. Что в пригородных деревнях организовал разветвленную сеть притонов… Что именно от этого всего, а совсем не из ресторанов и не с рынка текут его основные доходы. Куля даже, понизив голос, рассказал, что именно Куколь – заказчик убийства Родионова. А, вы же не знаете! Прошлой весной у нас тут произошло жестокое убийство: начальника городской милиции Родионова нашли вместе с маленьким сыном убитыми в Льнянском лесу. Убийц, конечно, не отыскали, но после этого в местных газетах перестали появляться статьи о том, что вот таможенники снова нашли партию наркотиков, а милиция накрыла видеоцентр детской порнографии… Вот что я могу рассказать о Куколе.

Мы молчали. Шумели сосны. Что здесь будешь говорить? Что тут скажешь? Зло кипело; был ли Куколь его зачинщиком или не был, а зло бурлило и пировало, зло танцевало, зло скалилось, подбираясь к нашей земле, которую Куколь назвал грунтами. Я – чего тут скрывать – я бы отступила в сторону, но рядом со мной, на пути этого дикого танца, на пороге этого бального зала, стояла сестра, и я знала, что она-то как раз и не отойдет. А коль она не отойдет, то и я останусь с ней рядом.

– Нет, Куколь не стал бы подсыпать в кофе кардиостим, – уверенно отмела Ленка версию Ульяны. – Он попросту подослал бы кого-нибудь из своих охранников – а их у него предостаточно, уж поверь, – с ножом или пистолетом – и делу конец. Быстро и надежно. Здесь кто-то знакомый, кто знает особенности вашего здоровья…

– Но зачем? На кой дьявол?

– А это уже, девчата, не у меня спрашивайте, а у себя.

– Слышишь, а чего он так вцепился в Добратичи, этот Куколь? Почему ему именно здесь втемяшилось строиться? – спросила Ульяна.

– А я знаю? У богатых свои причуды: вот вздумалось, и все. Место возле границы, недалеко от международной трассы Берлин – Москва – на множество клиентов, видно, надеется. Дальнобойщики там разные, туристы… А может, месторождение здесь отыскалось какое-нибудь. Нефть, например. Ну и хочет купить землю, пока никто о нем не проведал…

Это ничего!

В задумчивости, нога за ногу, брела я в огород, держа в руках тяпку и вилы, с твердым намерением привести в порядок грядку с клубникой – как дань памяти бабушки. По мне – гори она синим пламенем, эта клубника, и чем быстрее, тем лучше, но бабушка так о ней заботилась, о грядке… Поэтому я шла на огород, чтобы прополоть и полить ягоды. Сегодня утром Ульянка уехала в Минск. В горячке сборов, кормежке проклятой свиньи (черт, ну зачем мне она? Я же, понятное дело, в рот не смогу взять отбивные из этих толстых окорочков, потому что буду помнить эти смышленые глазки!), копаясь в курятнике, я на какое-то время забыла о вопросах, занимающих меня в последние дни, а вот теперь, в относительно свободную минуту, по дороге в огород, они, эти проклятые вопросы, снова всплыли на поверхность, как пузыри болотного газа из черных торфяных недр. Проанализировав еще раз все, что произошло, я пришла к выводу, что пора уже испугаться и принять какие-то меры по самообороне.

Немедленно после этого из-за кустов на дорогу выскочила женщина.

Испугаться я успела, а принять меры – нет.

– Оксанка?! Как ты меня напугала! – я хотела с облегчением вздохнуть, но вздох застрял у меня в горле.

Лицо у нее было жуткое. Белое, искаженное. Если сначала я вздрогнула просто от неожиданности, то, присмотревшись, испугалась именно того, что кипело у нее в глазах. Последний раз мы виделись на похоронах бабушки и тогда, пообещав друг другу встретиться в ближайшие дни, расстались абсолютно мирно и спокойно. Но сейчас она выглядела так, будто вот только что, минуту назад, я жестоко ее оскорбила, причинила неимоверный вред, предала, обидела ее дитя… Бешеный гнев брызгал из щелок, в которые превратились глаза, и прожигал меня насквозь. Полные губы сжались в нитку.

– Ах ты, гадина! – выкрикнула она с ненавистью и неожиданно сильно толкнула меня в грудь.

Я грохнулась на спину, выпустив из рук свой сельскохозяйственный инвентарь. Оксанка схватила мою тяпку, замахнулась и из-за плеча рубанула по мне. В этот момент я уже поднималась и уклониться не успела – острое лезвие врезалось мне в спину, под лопатку. Старая бабушкина мотыга, сделанная кузнецом сразу после войны, с сизым, очень острым лезвием и легким ольховым, отлакированным временем черенком по остроте не уступала ножу.

От шока, боли и неожиданности я снова рухнула на землю.

– Оксанка, ты что?!

– Убью! – Оксанка схватила вилы.

Говорят, в стрессовые, опасные для жизни моменты люди приобретают нечеловеческую силу и ловкость, благодаря чему и спасаются. Может быть, и так. Но ко мне это не имеет никакого отношения. Воля у меня слишком слабая – я это чувствовала не раз. Фатально почувствовала и сейчас. Вместо того, чтобы кричать, убегать или хоть что-нибудь делать, я только тупо, до предела раскрыв глаза, таращилась на Оксанку, на поднятые надо мной вилы и не могла даже шевельнуться.

Однако умереть на дороге в огород от рук подруги детства мне было не суждено.

Вдруг ее лицо изменилось, неуловимо смягчилось, и я поняла, что пронесло; изо всей силы вогнав вилы в песок рядом с моей головой и выдохнув:

– Чтоб ты сдохла, проклинаю тебя! – она исчезла за кустами, словно ее и не было.

Я выдернула тяпку из спины. Яркая алая кровь на стальном лезвии, как густая краска-гуашь. Я отключилась.

Дальнейшее помню урывками.

Хорошо помню песчинки – крохотные валуны, белые, золотые, серые, перед моими глазами. Озабоченный огромный муравей в раздумье вертит усиками. Красное пятно на песке возле моего плеча.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.